

10335  
1998

საქართველოს  
საბავშვო ლიტერატურის  
ცენტრი

Литературная  
Грузия

1-6



1998





# Литературная Грузия

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

**УЧРЕДИТЕЛИ:**

Союз писателей Грузии

Институт грузинской литературы им. Ш. Руставели

Издательство «Литературная Грузия»

1-6

---

1998



# СОДЕРЖАНИЕ

К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
НИКОЛОЗА БАРАТАШВИЛИ

**ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. «Я храм нашел...» . . . . . 5**

## ПОЭЗИЯ

**НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ. Таинственный  
голос. Перевод Б. Пастернака . . . . . 4**

**АРЧИЛ СУЛАКАУРИ. Стихи. Перевод Вла-  
димира Саришвили . . . . . 52**

**МУРМАН ЛЕБАНИДЗЕ. Стихи. Переводы  
Юрия Юрченко и Владимира  
Саришвили . . . . . 15**

**МАНАНА ЧИТИШВИЛИ. Стихи. Перевод  
Владимира Саришвили . . . . . 53**

**ШОТА ЧАНТЛАДЗЕ. Стихи. Перевод Гиви  
Орагвелидзе . . . . . 18**

## ПРОЗА

**БАСИЛ МЕЛИКИШВИЛИ. Три миниатюры.  
Перевод Лианы Татишвили . . . . . 23**

**РЕЗО ЧЕИШВИЛИ. Рассказы. Перевод Ги-  
ны Челидзе . . . . . 33**

**КОТЭ ДЖАНДИЕРИ. Приглашение в кино.  
Рассказ. Перевод Гурама Гвинчидзе . . . . . 56**

**РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Мобильный те-  
лефон. Новелла. Перевод Ирины Зу-  
рабашвили . . . . . 168**

**ВАХТАНГ БУАЧИДЗЕ. Здесь не дадут уме-  
реть. Рассказ . . . . . 172**

## ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

**ДМИТРИЙ СААКАДЗЕ. Стихи. Перевод Ге-  
оргия Ашкинадзе . . . . . 164**

**ЛАЛИ ДЗОЦЕНИДЗЕ. Горькая судьба . . . . . 166**

## НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ

**ПАОЛА УРУШАДЗЕ. Стихи . . . . . 106**

**ГУГУЛИ КЕБУРИА. Стихи . . . . . 109**





**ДРАМАТУРГИЯ**

**ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Ароматы Аравии. Драма**  
в 2-х действиях. Перевод Гулико Мар-  
гвелани . . . . . **113**

**АНКЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»**  
**«КАК МЫ ПИШЕМ».** На вопросы нашей ан-  
кеты отвечает поэт Бесик Харанаули . **182**

**КРИТИКА**

**ГЕОРГИЙ ЧАРКВИАНИ. «Единственная**  
страсть» . . . . . **20**

**МАРИНЭ РЕВИШВИЛИ. Миниатюры Басила**  
Меликишвили . . . . . **27**

**НОННА КУПРЕЙШВИЛИ. «Лечи свою мысль,**  
человек...» . . . . . **185**

**ТЕАТР**

**НАТЕЛА УРУШАДЗЕ. Верный рыцарь театра** **191**

**ПУБЛИЦИСТИКА**

**АНДЖЕЙ ФУРЬЕР. Осетинский вопрос. Пе-**  
ревод с польского Ирины Зураба-  
швили и Войцеха Гурецкого . **196**

**ИРИНА ЗУРАБАШВИЛИ. «Южная Осетия»:**  
новый опыт «независимости» . . . . . **202**

**БЫЛОЕ**

**ЛЕО ГАБУНИЯ. Из старой тетради . . . . .** **209**

**ФОЛЬКЛОР**

**АМИРАН АРАБУЛИ. «Последний враг» . . . . .** **222**

**СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ**

**ГАГА НИЖАРАДЗЕ. Советский анекдот: на-**  
циональные стереотипы . . . . . **228**

**СЛОВО ПРОЩАНИЯ**

Редактор, политик, друг . . . . . **234**

**ТАМАЗ ЧХЕНКЕЛИ. «Видишь, темнеет...» . . . . .** **237**

**КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . . .** **240**



**Николоз БАРАТАШВИЛИ**

### **ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС**

Чей это странный голос внутри?  
Что за причина вечной печали?  
С первых шагов моих, с самой зари,  
Только я бросил места, где бежали  
Детские дни наших игр и баталий,  
Только уехал из лона семьи,  
Голос какой-то невнятный и странный  
Сопровождает везде, постоянно  
Мысли, шаги и поступки мои:  
«Путь твой особый. Ищи — и найдешь».  
Так он мне шепчет. Но я и доньше  
В розысках вечных и вечно в унынье,  
Где этот путь и на что он похож?  
Совести ль это нечистой упрек  
Мучит меня затаенно порою?  
Что же такого содеять я мог,  
Чтобы лишить мою совесть покоя?  
Ангел-хранитель ли это со мной?  
Демон ли мой искуститель незримый?  
Кто бы ты ни был, поведай, открой,  
Что за таинственный жребий такой  
В жизни готовится мне, роковой,  
Скрытый, великий и неотвратимый?

1836

Перевод Бориса ПАСТЕРНАКА



К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
НИКОЛОЗА БАРАТАШВИЛИ

Заза АБЗИАНИДЗЕ

«Я ХРАМ НАШЕЛ...»

145883

Литературный портрет Николоза Бараташвили будет неполным, если не сказать несколько слов о его отце, Мелитоне Бараташвили. Это не удивительно — грозная фигура Мелитона поначалу ангелом-хранителем, а позднее злым демоном витала над прихрамывающим по короткому жизненному пути сыном. Импозантный майор в золотых эполетах, правитель Гянджинского округа, маршал тбилисского дворянства, в домашнем кругу был просто невыносим. «Наш Мелитон все такой же злобный, крикливый, все так же изводящий свою семью...» — писал своему брату Илье Григол Орбелиани. Даже положительные свойства его характера — хлебосољство и гостеприимство — обернулись для домашних несчастьем, приведя их к полному разорению.

Мелитон Бараташвили женился в двадцать три года — на Эфемии Зурабовне Орбелиани, сестре известного грузинского писателя-романтика Григола Орбелиани. Взять верх над Эфемией, в ту пору совсем юной — всего пятнадцати лет, — было не так уж трудно. Но и в зрелые годы у кроткой Эфемии, выдохшейся от следовавших друг за другом родов, детских болезней, забот о нуждающейся семье, по-видимому, не возникало желаниа противостоятъ своему вспыльчивому господину.

Из пятнадцати детей в семье Бараташвили выжило лишь пятеро: первенец — Николоз, или Тато, как его прозвали еще в детстве, Екатерина, Нино, Варвара и София.

Николоз Бараташвили родился 27 декабря 1817 года в старом квартале Тбилиси, неподалеку от Мухранского моста, который традиционно звался «аулом Орбелиани». В дом на улице Чахрухадзе, близ церкви Анчисхати, знакомый нам по мемориальной доске, семья Бараташвили переселилась лишь в 1841 году.

Старшей хозяйкой дома в «ауле Орбелиани» в ту пору



была Хорешан Батонишвили — мать Эфемии, внучка Ираклия II. Она же помогала Эфемии воспитывать Тато. Была в этом доме еще одна женщина, дарившая ему свое тепло, Майя Заврашвили — привезенная из Гори воспитательница.

Известно, какое воспитание получали в то время дети из благородных семей: умение читать и писать к восьми годам, молитвы наизусть, басни Сулхан-Саба Орбелиани, колыбельная перед сном...

Младшая сестра Николоза, Варвара Везиришвили вспоминала: «В доме Бараташвили имелись разные музыкальные инструменты: дайра, диплипито, чианури, тари и сантури. Нико не умел играть ни на одном из них, но песни и музыку очень любил».

Наверное поэтому, возмужав, он часто брал с собой на гуляния известного в Тбилиси своей игрой на тари певца Сатара, татарина по происхождению. Или же вспомним стихотворение «Ночь на Кабахи», где поэт с нескрываемой завистью пишет о Каплане Орбелиани, который «...грустно запел... объятый любовью желанной, красивую шею склоняя движением плавным».

Каплан Орбелиани был душой того общества, которое превратило Кабахи, поле конских состязаний, в место ночных гуляний и увеселений. И каким бы прекрасным стихотворцем ты ни был, какой бы богатой и нежной душой ни обладал, избранная тобой красавица под звуки музыки, написанной на твои же слова, устремляла свой восхищенный взор именно на Каплана... По свидетельству современников, Каплан действительно подобрал на тари мелодию к бараташвилевским «Злобному духу», «Раздумьям на берегу Куры» и «Серьге».

Как тут не понять Григола Робакидзе, напечатавшего в журнале «Паскунджи» в 1910 году изъятую из своей лекции о Бараташвили блестящую миниатюру «Звук тари».

Однако мы несколько опередили события, вернемся назад — к годам гимназии.

В 1827 году десятилетнего Тато определили в Тбилисское дворянское училище, которое через три года было преобразовано в гимназию. В конце 1830 г. Бараташвили за государственный счет перевели в пансион при гимназии. Ночевал, впрочем, он дома.

Круг друзей Н. Бараташвили (не считая женщин) сложился еще в гимназии: Михаил Туманишвили, Давид Мачабели, Константин Мамацашвили (все литераторы), Леван Меликишви-



ли (впоследствии вице-наместник) и наконец — дядя Тато и в то же время его друг — Илья Орбелиани.

Константин Мамацашвили писал, что Тато «выделялся среди своих друзей веселым нравом, проворством, слыл первым танцором, особенно ему удавалась лезгинка, все его очень любили». Даже охромев (гимназистом Бараташвили упал с лестницы и сломал левую ногу в лодыжке), Тато сохранил свою ловкость. Он был так подвижен, что это заметили на службе, а лезгинкой, выученной в «танцклассе» гимназии, он годы спустя удивил собравшееся в Марткопи на престольном празднике общество.

Гимназия во многом определила характер Бараташвили. Здесь сложился своего рода литературный кружок юных единомышленников. «Мы читали «Витязя в тигровой шкуре», «Висрамнани», Чахрухадзе, Александра Чавчавадзе», — вспоминал Лука Исарлишвили, товарищ Н. Бараташвили по гимназии. Читали в самом пансионе и у Тато дома, поскольку отец его, Мелитон, обладал одним неоспоримым достоинством — он любил книги и уважал образованных людей. Частыми гостями семьи Бараташвили были Александр Чавчавадзе и Эгнатэ Иоселиани, отец Платона Иоселиани, духовник царя Ираклия, до самой своей смерти так и не смирившийся с российским правлением. Надо думать, патетические строки поэмы «Судьба Грузии» были навеяны именно рассказами Платона Иоселиани.

Вышеупомянутый кружок учеников гимназии выпускал рукописный сборник, а позже рукописный журнал (но уже на русском языке) — «Цветок Тифлисской Гимназии». Первые пробы пера Бараташвили сохранились именно в этих рукописных изданиях и, читая опубликованные в одном из них «Сумерки на Мтацминда», мы ощущаем первые проблески его гения.

Эта традиция — литературных встреч-вечеров, составления рукописных альманахов продолжилась и после окончания гимназии. Следует учитывать и то, что образовавшийся в общественно-литературной жизни того времени вакуум (после выхода первого литературного журнала, изданного в 1832 г. Соломоном Додашвили, учителем и духовным наставником Тато) в течение 20 лет, ввиду отсутствия подобных изданий, газет и театра, заполняли именно рукописные сборники и вечера.

Здесь, в этих салонах — у Александра Чавчавадзе или Мананы Орбелиани (грузинской «мадам Рекамье», как говаривал Иона Меунаргия) Н. Бараташвили читает свои стихи и здесь же находит первое признание. Но иначе как насмешкой судьбы не назовешь то, что очаровательные адресаты его поэзии,



украшение этих самых салонов, с женским коварством, не отнимая у влюбленного поэта последней надежды, тайно увлекались другими, выходили за них замуж, и лишь годы опустя, удобно устроившись в кресле, в одиночестве, с увлажненными глазами читали посвященные им стихи оставшегося в голой земле Гянджи их несчастного поклонника:

Головку ландыша  
Качает бабочка.  
Цветок в движенье.  
На щеку с ямочкой  
Серезка с камушком  
Ложится тенью...

(Перевод Б. Пастернака)

Это стихотворение «Серьга», посвященное Екатерине Чавчавадзе, написано в 1839 году... В это время Екатерина уже обручена с сыном правителя Самегрело — Давидом Дадзани. А несколько лет спустя, когда Николоз был очарован еще одной прелестницей — Мариам Палавандишвили, жизненные пути Бараташвили и Дадзани вновь пересеклись: и на сей раз победа досталась Дадзани — Константину, младшему брату Давида. Избранная поэтом красавица стала его женой.

Казалось, Бараташвили должен был бы привыкнуть к подобным ударам судьбы. Еще гимназистом он был сурово наказан отцом за сочинение сатирических стихов на высокородных служащих, окончание гимназии вовсе остудило его романтические планы: «Уже полтора года, — пишет он дяде, Григолу Орбелиани, — как я закончил гимназию и служу в «Экспедиции суда и расправы» (Бараташвили был определен в судебное ведомство—З. А.), представлен к чину и, по-видимому вскоре получу его. Но должен признать, что ни в бытность мою в пансионе, когда будущность моя представлялась мне в радужных мечтаниях, ни потом, пока я не поступил на службу, у меня и мысли не было о гражданской службе: моей мечтой была карьера военного, до недавних пор мечта эта еще теплилась во мне и даже сейчас иногда еще берedit душу. Что же могло помешать мне, если таково было мое желание? А помешала, по мнению моих родителей, моя хромота и, следовательно, полная непригодность к военной службе. И это в то время, когда нога у меня почти зажила и не беспокоит. Так что сейчас я бегаю по-прежнему и даже танцую. Получив от



родителей отказ и поняв, что им это не по душе, я попросил отправить меня хотя бы в университет, чтобы уж если быть штатским... Но и в этом мне было отказано. К несчастью, в это же время заболел отец и на мою просьбу ответил: «Сынок, ты ведь видишь наше положение, возможно, я не выкарабкаюсь, кто как не ты будет содержать семью?» И мне было неудобно вновь беспокоить отца своей просьбой. Я остался в родном отечестве, поступил на службу и покорился своей суровой судьбе, хотя порой с горя хочется с ней схватиться...»

Это письмо датировано 1837 годом. Мелитон выздоровел, но из нужды выбраться так и не сумел, и содержание семьи тяжелым грузом легло на плечи Николоза.

Какие чувства должны обуревать попавшего в подобный жизненный капкан романтичного двадцатилетнего юношу — куда пойти, кому пожаловаться, кому поплакаться... В пору душевного смятения, когда никого не хочется беспокоить своими горестями и заботами, лучшим и верным слушателем, как всегда, оказывается мать-природа — окрестности Тбилиси, Мтацминда, Кура... Именно туда и шел Тато:

Иду, расстроюсь, на берег реки.  
Тоску развеять и уединиться.  
До слез люблю я эти уголки,  
Их тишину, раздолье без границы.

Ложусь и слушаю, как не спеша  
Течет Кура, журча на перекатах.  
Она сейчас зеркально хороша,  
Вся в отблесках лазури синеватых.

Свидетельница многих, многих лет,  
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?  
И воплощеньем суеты сует  
Представилась мне жизнь в минуту эту...

(Перевод Б. Пастернака)

Возможно, в миг отчаяния у автора этих строк и мелькала мысль в одночасье освободиться от душевной тяжести, от давящего плечи груза — сделать шаг в сторону Куры... (Кто не испытывал подобных минут?!). Но поэт, устыдившись своей слабости, напомнил себе:



Но мы сыны земли, и мы пришли  
На ней трудиться честно до кончины.  
И жалок тот, кто в памяти земли  
Уже при жизни станет мертвечиной.



(Перевод Б. Пастернака)

Этот наказ самому себе, безусловно, был необходим Бараташвили, так как интуиция подсказывала ему, что вся последующая его жизнь пройдет в каждодневном, утомительном, зачастую постылом «служении стране», а точнее, — в добычании средств к существованию. Поэтому и мечтает он хотя бы о небольшой ренте, источнике материальной независимости, которая является залогом личной свободы. Впоследствии он напишет об этом своему дяде, Захару Орбелиани: «Будь у меня хоть малейшая возможность быть ни от кого не зависимым, я тотчас же покинул бы свет и людей с их ненасытностью, и, умиротворенный, зажил бы патриархальной жизнью на лоне природы, которая так величественна и прекрасна в нашей стране».

Письмо к дяде написано в 1844 году — за год до кончины Н. Бараташвили. Но этот мотив — желание отойти от общества, уединиться, сознание, что он не оценен близкими, какое-то внутреннее самобичевание — пронизывает все его творчество.

На фоне воспоминаний, воссоздающих образ необыкновенно жизнелюбивого, живого и остроумного Бараташвили, желанного гостя всех салонов и знатных семей Тбилиси, это чувство неудовлетворенности либо можно считать маской романтика, либо признать, что украшенный рамками салонных взаимоотношений портрет Н. Бараташвили постепенно обретает трагические черты.

Раз уж мы упомянули о портрете, в двух словах скажем и о внешности поэта — возможно, и в ней кроется одна из причин его драмы.

«Бараташвили был белолиц, — вспоминал Лука Исарлишвили, — на худом лице выделялись живые черные миндалевидные глаза. Волосы—цвета каштана, рост и упитанность — средние. Густые брови сходились на переносице. Бороды не носил. Часто сбривал и усы. Лицо — издали привлекательное — вблизи выглядело чуть сморщенным... Он заметно хромотал, но тем не менее был быстр и проворен». Дмитрий Кипиани, знавший Н. Бараташвили по гимназии, писал, что он



был «низкого роста, плотным, курносым, слишком подвижным, веселым и остроумным».

Интересно, о чем думал этот «веселый и остроумный» молодой человек, глядя в зеркало и сравнивая себя со своими соперниками?.. Никто уже не приласкает его подобно матери и няне — «мой красавец», и добрый учитель русского языка Николай Дементьев уже не погладит его по головке — «Ну, что напроказничал, курносенький?» — а те ласковые слова, что довелось ему слышать на террасе дома Чавчавадзе, в салоне Мананы Орбелиани или во время прогулок по Кабахи, сейчас казались ему лживыми, ибо как иначе могут восприниматься они брошенным и все же обуреваемым чувствами возлюбленным, оплакивающим свое одиночество:

Ах, одиночество души такое бремя!  
Как тяжело мирским утехам чуждым быть.  
Все помнить светлых грез промчавшееся время  
И в воздыханиях забвенью находить!

(Перевод В. Гаприндашвили)

Эту строфу из стихотворения «Одинокая душа» Н. Бараташвили включил в адресованное Маико Орбелиани письмо, зеркально отражавшее его тогдашнее душевное состояние. Это письмо, в свою очередь, является исчерпывающим комментарием к его же стихотворению: «... и эта ночь прошла как сон. Моя грусть вновь посетила меня. Даже тот, кто любит и пользуется взаимностью, не очень-то счастлив в этом ужасном мире, а что уж говорить обо мне, ты-то знаешь, как давно я одинок. Даже не верится, Маико! Жизнь опостылела мне из-за этого одиночества. Представь себе горечь человека, имеющего и отца, и мать, и сестер, множество родственников и все же одинокого, неприкаянного в этом необъятном мире. В ком я мыслил чувства высокие, оказались бессердечными; чьи души считал возвышенными, оказались и вовсе бездушными, в чей ум я верил как в талант, данный свыше, оказались неспособными на простое суждение, слезы, которые я воспринимал как слезы сочувствия, выражение прекрасной души, оказались знаком коварства, каплями страшного яда. Как упокоить душу, где преклонить голову?..»

Читаешь это письмо и невольно думаешь — какое невезение: единственная женщина в окружении Н. Бараташвили, обладавшая наряду с редким обаянием проницательным умом:



и зная истинную цену поэта, как нарочно была его двоюродной сестрой и к тому же невестой ближайшего друга Тато Левана Меликишвили. Это затянувшееся жениховство, рожденный без венца сын, пересуды окружающих привели к ее болезни, перешедшей в чахотку, а потом и вовсе свели в могилу молодую и полную жизни Маико Орбелиани — еще одну жертву тех «ветреных страстей», об избавлении от которых так горячо молил Всевышнего друг юности и поверенный в тайнах Маико Николоз Барагашвили:

Ключ жизни, утоли мою печаль  
Водою из твоих святых истоков.  
Спаси мой челн от бурь мирских пороков  
И в пристань тихую его причаль.

О сердцевед, ты видишь все пути  
И знаешь все, что я скажу, заране.  
Мои нечаянные умолчанья  
В молитвы мне по благости зачти.

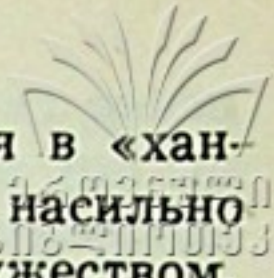
(Перевод Б. Пастернака)

Несмотря на эту мольбу, Тато, подобно обреченной бабочке, вновь и вновь стремится к испепеляющему пламени, и ненадолго его жизнь окрашивает очередная иллюзия, а в тетради его стихов появляется еще одно стихотворение. Так было до написания «Моей молитвы» и после нее.

Какое-то время Н. Бараташвили был увлечен поселившейся в Тбилиси француженкой — Дельфиной Лабизель (по словам Луки Исарлишвили, именно ей поэт посвятил свое стихотворение «Моей звезде»). С каким восторгом пишет Тато Михаилу Туманишвили о том, что мать Дельфины пригласила его на несколько дней в Цхнети, с каким блаженством описывает он эти дни... Впоследствии никогда больше — ни в стихах, ни в письмах — Н. Бараташвили не упоминает о своем посещении Цхнети — по-видимому, он понял, что это приглашение было своего рода смотринами... Мать Дельфины, владелица кондитерской и практичная женщина, руководствовалась отнюдь не романтическими иллюзиями — она искала для своих двух дочерей обеспеченных мужей. И нашла-таки их — в лице весьма преуспевающих и знатных офицеров...

Последнее увлечение Н. Бараташвили в Гяндже носило совсем уж романтический характер: Николоз, как видно из





адресованного им Маико Орбелиани письма, влюбился в «ханскую жену» — восемнадцатилетнюю Гонча-Бегум, <sup>насилно</sup> выданную замуж. В то время она, тяготясь этим замужеством, сочиняла печальные стихи... Трудно сказать — напомнила ли Н. Бараташвили эта история его «Катеньку» — Екатерину Чавчавадзе, или же он просто был очарован юностью и красотой Гонча-Бегум, но именно ей поэт посвятил свое последнее стихотворение — «Благодарение создавшему тебя, красавица, дева черноокая...».

Знакомясь с интимной стороной биографии Н. Бараташвили, ощущаешь в этих следующих друг за другом неудачах какую-то щемящую сердце закономерность и пытаешься разгадать их причину: думается, ни материальная неустроенность, ни хромота, ни даже какие-то другие лежащие на поверхности обстоятельства не играют здесь главной роли... Причина кроется намного глубже. В чем-то таком, что делает человека счастливым, — побуждает написать стихотворение, восхищаться синевой неба и блеском серьги, а по ночам считать звезды и жить в воображаемом мире, но в то же время — наказывает и делает несчастным, поскольку юношеский идеализм, лишенное реальности восприятие, невозможность достичь желаемого и неумение довольствоваться достигнутым в конечном итоге оборачивается тем горьким разочарованием, которое сквозит в письмах Н. Бараташвили и его стихах, а особенно полно отразилось в монологе обреченного всадника «Мерани»: «Пусть не усну я в земле отчизны среди старинных могильных плит...»

Редко, когда стихотворение является одновременно и поэтической автобиографией и завещанием: Бараташвили действительно оказался в трагической ситуации — все труднее ему выносить свое окружение, но и без него тяжело. «Кто сейчас помнит о нас, о двух одиноких парнях, обретающихся в Нахичевани...» — писал Бараташвили Маико Орбелиани о себе и ее женихе — Леване Меликишвили...

Это постоянное чувство неудовлетворенности, естественно, отразилось и на характере Н. Бараташвили. «Проворный, шаловливый, беспокойный, немного вспыльчивый, нервный, остроумный» гимназист (согласно характеристике Ионы Меунаргия) через каких-то два года превратился в недовольного жизнью чиновника, чье одиночество усугублялось его же острым языком и неуравновешенным характером — как нужно вывести из тер-



и знавшая истинную цену поэта, как нарочно была его двоюродной сестрой и к тому же невестой ближайшего друга Тато Левана Меликишвили. Это затянувшееся жениховство, рожденный без венца сын, пересуды окружающих привели к ее болезни, перешедшей в чахотку, а потом и вовсе свели в могилу молодую и полную жизни Маико Орбелиани — еще одну жертву тех «ветреных страстей», об избавлении от которых так горячо молил Всевышнего друг юности и поверенный в тайнах Маико Николоз Барагашвили:

Ключ жизни, утоли мою печаль  
Водою из твоих святых истоков.  
Спаси мой челн от бурь мирских пороков  
И в пристань тихую его причаль.

О сердцевед, ты видишь все пути  
И знаешь все, что я скажу, заране.  
Мои нечаянные умолчанья  
В молитвы мне по благодати зачти.

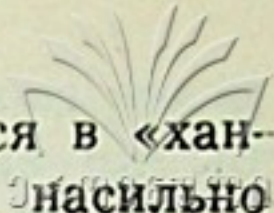
(Перевод Б. Пастернака)

Несмотря на эту мольбу, Тато, подобно обреченной бабочке, вновь и вновь стремится к испепеляющему пламени, и ненадолго его жизнь окрашивает очередная иллюзия, а в тетради его стихов появляется еще одно стихотворение. Так было до написания «Моей молитвы» и после нее.

Какое-то время Н. Бараташвили был увлечен поселившейся в Тбилиси француженкой — Дельфиной Лабиэль (по словам Луки Исарлишвили, именно ей поэт посвятил свое стихотворение «Моей звезде»). С каким восторгом пишет Тато Михаилу Туманишвили о том, что мать Дельфины пригласила его на несколько дней в Цхнети, с каким блаженством описывает он эти дни... Впоследствии никогда больше — ни в стихах, ни в письмах — Н. Бараташвили не упоминает о своем посещении Цхнети — по-видимому, он понял, что это приглашение было своего рода смотринами... Мать Дельфины, владелица кондитерской и практичная женщина, руководствовалась отнюдь не романтическими иллюзиями — она искала для своих двух дочерей обеспеченных мужей. И нашла-таки их — в лице весьма преуспевающих и знатных офицеров...

Последнее увлечение Н. Бараташвили в Гяндже носило совсем уж романтический характер: Николоз, как видно из





адресованного им Майко Орбелиани письма, влюбился в «ханскую жену» — восемнадцатилетнюю Гонча-Бегум, <sup>на</sup>насиленно выданную замуж. В то время она, тяготясь этим замужеством, сочиняла печальные стихи... Трудно сказать — напомнила ли Н. Бараташвили эта история его «Катеньку» — Екатерину Чавчавадзе, или же он просто был очарован юностью и красотой Гонча-Бегум, но именно ей поэт посвятил свое последнее стихотворение — «Благодарение создавшему тебя, красавица, дева черноокая...».

Знакомясь с интимной стороной биографии Н. Бараташвили, ощущаешь в этих следующих друг за другом неудачах какую-то щемящую сердце закономерность и пытаешься разгадать их причину: думается, ни материальная неустроенность, ни хромота, ни даже какие-то другие лежащие на поверхности обстоятельства не играют здесь главной роли... Причина кроется намного глубже. В чем-то таком, что делает человека счастливым, — побуждает написать стихотворение, восхищаться синевой неба и блеском серьги, а по ночам считать звезды и жить в воображаемом мире, но в то же время — наказывает и делает несчастным, поскольку юношеский идеализм, лишённое реальности восприятие, невозможность достичь желаемого и неумение довольствоваться достигнутым в конечном итоге оборачивается тем горьким разочарованием, которое сквозит в письмах Н. Бараташвили и его стихах, а особенно полно отразилось в монологе обреченного всадника «Мерани»: «Пусть не усну я в земле отчизны среди старинных могильных плит...»

Редко, когда стихотворение является одновременно и поэтической автобиографией и завещанием: Бараташвили действительно оказался в трагической ситуации — все труднее ему выносить свое окружение, но и без него тяжело. «Кто сейчас помнит о нас, о двух одиноких парнях, обретающихся в Нахичевани...» — писал Бараташвили Майко Орбелиани о себе и ее женихе — Леване Меликишвили...

Это постоянное чувство неудовлетворенности, естественно, отразилось и на характере Н. Бараташвили. «Проворный, шаловливый, беспокойный, немного вспыльчивый, нервный, остроумный» гимназист (согласно характеристике Ионы Меунаргия) через каких-то два года превратился в недовольного жизнью чиновника, чье одиночество усугублялось его же острым языком и неуравновешенным характером — как нужно вывести из тер-



пения своего дядю и близкого друга — Илью Орбелиани, чтобы тот вызвал тебя на дуэль?.. Того самого Илью Орбелиани, которому через два года будет посвящен «Мерани».

Зачастую перст судьбы мы называем случайностью. Понятно, Тато не мог стать жертвой пули, выпущенной из пистолета Ильи. Этого и не произошло. Но думается, что именно провидение привело экипаж Мамуки Орбелиани — начальника Гянджинского уезда к дому Бараташвили за несколько минут до отъезда Тато в Телави. Уже определенного на должность помощника начальника Телавского уезда Бараташвили Мамука Орбелиани уговорил поехать заместителем к нему и увез-таки в Гянджу. Позже Николоз упрашивал Григола Орбелиани подыскать ему службу в Грузии, жалуясь на невыносимый климат и отсутствие общества. Но судьба распорядилась иначе... Какую логику можно увидеть в смерти молодого, 27-ми лет, человека, но, мне кажется, из того духовного тупика, в котором, судя по последним стихам и письмам, оказался Н. Бараташвили, выход был один...

Если отрицать случайность и смотреть на жизнь глазами фаталиста, то можно поверить, что существует заранее не обдуманное и не осознанное самоубийство. Именно таким самоубийством воспринимается та единственная кружка холодного пива, которую выпил обессиленный от лихорадки, но уже почти выздоровевший Бараташвили. Болезнь вернулась, и девятого октября 1845 года поэта не стало.

В Гяндже в то время не было никого из его близких. Никто его не оплакивал. Провидение словно решило и в этом исполнить поэтическое предсказание «Мерани».

У одинокой могилы Бараташвили за оградой русской церкви стоял высокий кипарис, и много лет спустя после его смерти, когда был утерян и надгробный камень, могилу поэта находили по этому кипарису.

Лишь спустя полвека, в 1893 году, по инициативе «Общества по распространению грамотности среди грузин» прах Николоза Бараташвили был перевезен в Тбилиси, в Дидубийский пантеон, а в 1938 году в его последнюю и вечную обитель — Мтацминда.









Солнца шар золотой дразнит птиц высотой,  
Кроны черных дубрав поджигает...  
Новым мясом, и шкурой, и шерстью густой  
Обрастаю —

и лета в лесу ожидаю...

Как любил я свой лес и медведей своих!..  
Но когда мне хребет раздробило  
И валялся я долго в крови — лес затих,  
И зверье от меня уходило...  
И я проклял свой род, и о смерти молил,  
И когтями я землю царапал,  
Когда видел, как бурые братья мои  
Через горы-холмы, растворяясь в дали,  
переваливали косолапо...

Лишь один шел за мною по следу в траве —  
По кровавым чернеющим знакам;  
Лишь один, он нашел меня в рыжей траве,  
И щекой меня трогал, и лапой...  
И медведей медведь — на весь лес — обревел,  
И лизал меня долго, и плакал...  
Лишь один он нашел меня в рыжей траве,  
И щекой меня трогал,  
и лапой...

Я в Худадовском черном лесу зимовал —  
Зарывался подальше, поглубже...  
Я в заснеженном черном лесу зимовал —  
Но внезапной весной был разбужен,  
Я в заснеженном черном лесу зимовал,  
И всю зиму я лапу надежды лизал  
В тишине, вдалеке от дороги,  
И теперь, по весне,  
я, израненный зверь,  
выхожу, наконец, из берлоги...

Хватит злости сломать самый сильный платан!  
Хватит силы любому ответить!  
Знаю — встречу медведей, сполна им отдам!  
Знаю — встречу я друга-медведя!  
Солнца шар золотой дразнит птиц высотой,  
И земля по оврагам прогрета...



Новым мясом, и шкурой, и шерстью густой  
Обрастаю —

и лета жду,  
лета!

Перевод Юрия ЮРЧЕНКО

\* \* \*  
Заходит солнце за рекою Стикс,  
Для нас лучи весенние отпели,  
Ты ждешь, дрожа...  
Харон, посторонись,  
Я прыгну из ладьи  
От смерти — к Леле.

\* \* \*  
Лена, льется вешнее вино,  
Гнезда вьют и устилают птицы,  
Я куплю тебе шелка и ситцы,  
Белое мне вышей полотно,  
Лена, льется вешнее вино.

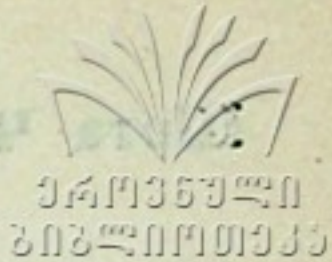
Я тоску твою прогнать не смог  
По покосу, пахнущему мятой,  
Бузине, босою пяткой смятой...  
Бетанийский храм далек, далек.  
Я тоску твою прогнать не смог.

Не неволю больше, не держу.  
Впредь не назовешь ты дом тюрьмою.  
Как борзой щенок, перед тобою,  
На охоте бегаю, служу.  
Не неволю больше, не держу.

Лена, льется вешнее вино,  
Гомонят, поют, хлопочут птицы,  
Я куплю тебе шелка и ситцы,  
Белое мне вышей полотно.  
Лена, льется вешнее вино...

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

145883





## ХРАМ

Монастырь покинув, на дорогу вышли  
скорбные монахи в пыльных рясах длинных.  
Но следы бесцельно по песку бродивших  
лишь песок да ветер сохранили ныне...

Купол, бывший Небом, раскрошили ливни,  
двери к Вознесенью выломали бури.  
Не звучит под небом колокол призывный,  
голосов не слышно. Только сумрак хмурый.

Дождь прошел, но ветер завладел простором.  
Ветер! Зычный ветер продувает стены.  
Холодно Марии на иконе черной,  
холодно младенцу на ее коленях.

1950

## МЕДИЦИНСКАЯ СИМФОНИЯ

Кости — тела лиственность,  
в теле — клетот хищный.  
Словно роги — пальцы.  
Брови разрастаются  
под челом.  
Над лицом —  
                                утомленье.  
Позвоночник — углубленье.  
Плечи — щит горластой речи,  
холод — плечи.

На челе, как выстрел, — жила,  
как мазок искристый, — жила.  
На коленях —  
                                реки-жилы  
вверх взметнулись сизокрыло,  
вниз упали водопадом.



**Жилы — в теле впадины.**

**Жилы — боли средоточья.**

**Жилы —**

**реки,**

**змеи,**

**тросы—**

**вяжут тело — как веревки.**

**Руки борются друг с другом,**

**и в сраженье этом шумном**

**правой с левой,**

**левой с правой**

**пораженье терпит правая,**

**пораженье терпит левая;**

**то выигрывает правая,**

**то выигрывает левая;**

**в битве правой,**

**в битве левой**

**нет победы несомненной,**

**пораженья тоже нет,**

**нет к тому же и желанья**

**прекратить сраженья бред.**

**Что же это?**

**— Битва крови.**

**Кровь из жил наружу хочет,**

**разряжается, клокочет,**

**набегая — набухает,**

**до предела напрягаясь,**

**Кажется:**

**вот-вот и лопнет**

**каждой хищной жилы лопасть.**

**Тело множит сумму звеньев**

**и побед,**

**и поражений.**

**Продолжается сраженье,**

**продолжается сраженье.**

1953



## ВИД С МОСТА



На берегу реки — дом небольшой,  
у дома, естественно, — окошко.  
Из окошка, естественно, выглядывает женщина.  
И дом, и окошко, и женщина,  
естественно,  
отражаются в реке.  
Направляюсь я к дому, в реке отраженному,  
но, если  
мне дверь не откроет та женщина,  
в дом придется проникнуть с окошка,  
в реке отраженного.  
Полагаю, что женщина, дом которой в реке отразился,  
увидит меня  
и, естественно, испугается,  
и, естественно, дверь побежит открывать...  
Но и в том доме, в реке отраженном,  
естественно,  
приоткроется дверь  
и пропустит меня в этот дом,  
отраженный в реке...

Не оставлю записки прощальной.

1957

Перевод Гиви ОРАГВЕЛИДЗЕ

## ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ

В нынешнем году Шота Чантладзе исполнилось бы семьдесят лет. Он ушел из жизни тридцать лет назад в 1968 году из-за осложнений, вызванных поздно сделанной хирургической операцией.

При жизни не напечатал ни одного своего стихотворения. Словно бы и не хотел публиковаться, не носил по редакциям рукописи, хотя отнюдь не недооценивал собственное творчество. Думаю, он не совсем шутил, когда прилюдно, во всеуслышание называл себя гением. Причем, говорил об этом мимоходом, небрежно, как о всеми признанном, бесспорном факте.



чем вызывал озлобленность многих бесталанных литераторов. Впрочем, людей других профессий в его окружении почти не было.

После окончания филологического факультета Тбилисского госуниверситета Шота проработал один учебный год преподавателем в сельской школе, а затем, несмотря на все старания, так и не смог никуда устроиться. Зарабатывал какие-то гроши в сатирико-юмористическом журнале «Нианги», которому продавал, в основном, темы для карикатур, а порой остро-ты и юморески. Но в журнале вместе с обложкой было всего восемь страниц, а авторов — вагон и маленькая тележка. Так что реализация одной темы в номере должна была восприниматься как свидетельство уважения редакции к внештатному сотруднику-юмористу.

В последние годы жизни Шота Чантладзе много переводил. Прежде всего вместе с Мухраном Мачавариани и Гиви Дзнеладзе финский эпос «Калевалу». Гонорар принесли ему в больницу перед смертью. Шота, оказывается, положил деньги под подушку и сказал, что теперь с ним, богатым человеком, ничего плохого не случится... Потом уже вышли его книги, о его творчестве были написаны статьи, на доме, где он жил, установили мемориальную доску. При жизни о Шота как о поэте знал только узкий круг писателей. Теперь это не так. Может быть, в скором времени кто-нибудь защитит диссертацию о его творчестве. И не кандидатскую, а докторскую...

Обычно по утрам Шота приходил в университетский сад. Здесь его скамейку сразу же окружали студенты — начинающие поэты. Разговор шел о чем угодно. Но ироничность присутствовала всегда. Шота не смотрел снизу вверх на писателей старшего поколения, не благоговел перед ними. Чего уж говорить об отношении к своим ровесникам или тем, кто был младше. Порою он подпускал шпильки кому-либо прямо в лицо, но никогда — за спиной. В здание университета заходил крайне редко. Разве только тогда, когда хотел повидать Заура Болквадзе, работавшего в редакции многотиражной газеты «Ахалгазрда сталинели».

Шота редко читал свои стихи наизусть. Его часто можно было встретить в закуской в подвале на углу улиц Меликишвили и Якова Николадзе, которую называли «пятым корпусом университета». Там часто собирались студенческие компании, чтобы поесть острую солянку, выпить ординарное вино № 8 и по-



курить сигареты «Прима» производства Второй табачной фабрики. Шота любил покурить. Каждый участник застолья обычно читал какое-либо стихотворение. Шота, уж если свое, то «Игру в карты». Но в большинстве случаев читал «Шарманщиков и поэтов» Тициана Табидзе. Читал громко, жестикулируя, почти как актер. Эмоциональное воздействие на слушателя было несомненным.

Как-то Шота сказал: не обязательно хорошо знать неродной язык, чтобы написать на нем стихотворение. В доказательство этой, прямо скажем, оригинальной мысли, посмеиваясь, прочел сочиненные им накануне стихотворения на русском языке. Одно из них, не совсем грамотное, мне запомнилось:

Кто дышит, тот пишет,  
Кто пишет, тот нищий,  
Кто нищий, тот ищет.  
Тот ищет сто тыщи,  
Тише!

«Калевалу» он начал переводить, не имея на руках договора. Даже словесно никто не обещал ему способствовать в дальнейшем изданию этой довольно объемистой книги. Трудно сказать, вышла бы она тогда в свет, если б не подключились к переводу М. Мачавариани и Г. Дзнеладзе.

К 60-м годам мужская часть населения Грузии почти поголовно поклонялась футболу. Месхи был кумиром школьников и академиков, шахтеров и шоферов, маменькиных сынков и головорезов. Свою головокружительную карьеру начала Нона Гаприндашвили, и вся Грузия, включая женщин, вдруг ощутила непреодолимую любовь к шахматам. Шота Чантладзе, тем не менее, спортом особенно не увлекался. Был в курсе дел, но не более того. Не помню, чтобы пытался достать билет на футбольный матч, а это в те годы было нелегким делом. В шахматы же он, мне кажется, вообще не играл. Его единственной страстью и целью жизни являлась литература.

Стихи Шота Чантладзе, предложенные нашему читателю, думается, никого не оставят равнодушным.

**Георгий ЧАРКВИАНИ**





Басил МЕЛИКИШВИЛИ

ТРИ МИНИАТЮРЫ

## КВИРИНАИ

Как только двурогая луна, этот крошечный нарост на небе, многострадальная и грешная и, кажется, уже круглеющая, перевалила через хребет, следом за ней выскочил Квиринаи, лохматогривый жеребенок. И на луне появилось изогнутое его отражение.

Людские взгляды в деревушках устремились вверх. Они различили жеребенка Квиринаи, цветом черного, как непроглядная ночь, распростертого на горе, как вырубленная чинаровая роща. Да, жеребенка, дикого, неприрученного.

Люди бросились за ним, стали преследовать его. Но почему не удалось сломить им жеребенка? Лишь только двурогая луна перевалила через хребет — вас одолела жадность, люди. Стряхните с ног грязь, вооружитесь арканами и вперед, к хребту! Пятнадцать арканов одновременно помчались к Квиринаи. Пятнадцать рук схватились за петли, чтобы поймать его, связать, смирить.

И ты пришел в ярость, Квиринаи! Выскользнул из петель, смял людей, размазал по земле уцелевших, растерзал зубами, залягал им животы.

И тогда тебя окружили молодыми кобылицами. Может быть, страсть лишит его воли, подумали люди, может быть, хоть так удастся смирить его. Долго ты наскокивал на кобылиц обессилевшим щенком, кусал их, брыкался, но под конец желание одолело тебя, ты взвился, потом склонил голову перед одной из них, распластался на земле.



И снова люди стали арканить тебя. Кобылицы дрогнули от страха... А когда луна скрылась за горизонтом, перед людьми оказалось истерзанное тело Квиринаи. Тогда они освободили тебя от пут, Квирина, окоченевшего, с застывшим взглядом.

И после этого заходит и восходит луна, многогрешный нарост на небе. Но люди уже не видят летящего через хребет лохматогривого жеребенка Квиринаи...

## БЕТАНИЯ

Безмолвствовали залатанные стены и густой темный лес. И ущелье Сквиретское наполняло шумом овраги, и по вечерам тихий шепот проносился над руслом Квесети.

Бетания! Стоят твои залатанные стены, и мне хочется испытать радость, радость необыкновенную, глубокую.

Безмолвствовали залатанные стены, и поднималось дерево, посаженное у разрушенной кельи. Безмолвствовали залатанные стены, и огонь окутывал замшелые камни. Инжир порадовал нас высотой и прошедшими днями.

Бетания! В орнаментах твоего окна поселились осы — вероятно, чтобы складывать мед. Вам знаком вкус осинового меда? Он горький и возмутительно желтый. Человек может протянуть к нему руку, а оса тут же жалит его.

Я приду к разрушенной стене и взгляну на нее глазами инжира. Может быть, тогда я почувствую радость, необыкновенную, глубокую.

И осыпятся залатанные стены — искрошится вымытый непогодой замшелый камень, и песок слезой ляжет на инжировый лист и выжжет ему сердцевины, и песней развеется вдоль реки Квесети.

И солнце постепенно уйдет за горизонт, и инжир вытянется, чтобы почувствовать тишину. Тогда и твои стены окутает молчание, а инжир все же вознесется — послушать тишину.



И когда солнце уйдет за горизонт и сумрак сгустится над Квесетскими скалами, у инжира вырвется стон, и смолкнут твои залатанные стены, Бетания!

Безмолвствовали залатанные стены, безмолвствовала и ночь, сроднившаяся со столетними орехами. А инжир все будет тянуться ввысь, чтобы ощутить тишину и безмолвие.

## УПЛИСЦИХЭ

И Мтквари рассечет ей сердце, и притихнут села Картли. Молчишь, Уплисцихэ! Молчат и села по ту сторону Мтквари, которая рассекла сердце Картли, и смолкли села по ту сторону Мтквари.

Уплисцихэ! В девятой твоей келье Картли заперла Бога и ключи от кельи спрятала на груди. И дитя захотело освободить узника, но испугалось дитя: на дверях висела семикрылая головка лука\*. И убежало дитя прочь от кельи. И пленный Бог навечно остался в Уплисцихэ.

И огонь возник в котловине, и в ней поселился Турман. На холме, возвышающемся над котловиной, стоят развалины башни и украшенный резьбой храм — окно влюбилось в ветерок, и оплыла и погасла свеча в трапезной, и из Ксилиси донеслись пронзительные вопли волчат.

И смотрю я на Картли глазами Уплисцихэ — глазами Уплисцихэ, где завелись змеи и ящеры, и если когда-либо призрак прошествует по Уплисцихской котловине, пусть заберет с собой это зло.

Смотрю я на Картли и дивлюсь: почему она столь бездонна и таинственна? Почему выжжена и истерзана? И луна, ущербная и бледная, упадет на Армазисхеви, и Турман все же зажжет свечу, оплившую и по-

---

\* В старину перед Великим постом над дверью вешали самую большую головку лука с воткнутыми в нее семью птичьими перьями. По прошествии каждой недели вынимали по одному перу, считая таким образом, сколько недель осталось поститься. (Прим. пер.).



гасшую, и луна, бледная и ущербная, лазутчиком за-  
скользит вдоль кватахевских речушек.

Расчет Мтквари сердце Картли, и из Ксисиси  
донесутся пронзительные вопли волчат, и зло, скопив-  
шееся в Уплисцихской котловине, заберут с собой  
проходящие призраки.

Внутри Уплисцихэ — тишина, а у окна мечется ве-  
тер, и Турман зажжет свечу, и мы окинем Картли  
глазами Уплисцихэ.

И все же Мтквари прорежет грудь Картли, и со  
стороны Ксисиси на Уплисцихэ двинется туман, как  
зло, скопившееся в отпечатке ноги Тamar.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ





## МИНИАТЮРЫ

### БАСИЛА МЕЛИКИШВИЛИ

Переоценка литературных процессов 20-х годов вызвала к жизни имя не одного интересного художника. Среди них — Басил Меликишвили, жизнь которого отмечена печатью жестокого времени, а творчество — болью и романтизмом, которые так отличали этого несчастливца с утонченной душой.

Недолгая жизнь Басила Меликишвили отразилась в его рассказах, миниатюрах, личных письмах — не в прямом, автобиографическом понимании, а в виде отзвука трагического времени.

Проза Басила Меликишвили столь романтична, а речь его в такой степени возвышенна, стилизованна, ритмична, уподоблена белому стиху, что возникает желание специально изучить этот художественно-языковой феномен.

Георгий Шатберашвили отнюдь не случайно назвал рассказ «Темногрудая ласточка» поэмой. Изысканное художественное чутье, лирическое восприятие действительности и ее философское, иррациональное осмысление, образность, проявляющаяся в стилистическом артистизме, убеждают нас; что Басил Меликишвили по духу своему являлся истинным поэтом. Родился он 2 ноября 1904 года в селе Зирбити (нынешний Тетрицкарский район). Отец — Иван Меликишвили, по кличке «Горец Ван», батрача в молодости, сумел сколотить нужную сумму и открыть духан на Манглисской дороге. Мать скончалась рано, однако мачеха, пытаясь заменить детям мать, делала все, чтобы Басил и его сестра Софья не ощутили горечи сиротства. К тому времени «Горец Ван» уже переехал в село Орбети (тогда оно называлось Приют).

В восьмилетнем возрасте Басила привезли в Тбилиси и определили в духовную семинарию. Друг детства Басила, впоследствии известный физиолог Куджи Дзидзишвили, вспоминал, что нежный и чувствительный ребенок не смог приспособиться к суровому режиму семинарии и родители перевели его в грузинскую гимназию. У Басила Меликишвили были великолепные педагоги: Луарсаб Боцвадзе, Петрэ Ми-



рианашвили, Тамар Ломоури, Сеид Иашвили, Давид Паркадзе, Шалва Шарашенидзе, Эреклэ Татишвили... Каждый из них, разумеется, участвовал в формировании юноши как писателя и личности, определил его безошибочную нравственную и духовную ориентацию.

В памяти друзей остался портрет юного Басила: «Мальчик он был невысокий, худощавый, рябой... Тщедушность Басила мы считали причиной, объясняющей его постоянную молчаливость и застенчивость, он никогда не участвовал в играх и развлечениях ровесников. Да, он был застенчив, но не скрытен. Легко никому не доверялся, однако если к кому-то испытывал симпатию, то открывал ему душу, становился преданнейшим другом. Он умел искренне любить... Для друга готов был чем угодно пожертвовать, но ненавидел людей недостойных и нечистоплотных, плативших дань двурушничеству, лести и чванству» (Куджи Дзидзишвили).

Будучи подростком, Басил любил две вещи: чтение и путешествия. Постоянно читал древнегрузинскую литературу, увлекался философией, французской поэзией, индийской культурой. И маршруты предполагаемых путешествий, и духовные интересы влекли Басила Меликишвили в горы. Он рассказывал, будто жил в усадьбе Важа Пшавела. Достаточно было какого-либо повода, и он непременно начинал говорить о поэзии Важа. Вообще мир Важа Пшавела был источником поэтического вдохновения Басила Меликишвили. В рассказе «Змеинное озеро», где по-своему осмыслена тема «Змеееда», Важа даже предстает в качестве персонажа. И подобно Вергилию Данте, Важа Пшавела становится проводником Басила Меликишвили в таинственном, мистико-поэтическом мире, где господствует дух красивейшей и мудрейшей царицы змей Гирхи.

Не в меньшей степени почитал Басил Меликишвили Александра Казбеги. Знал наизусть отрывки из его произведений, ему нравился мохевский диалект персонажей. Вообще он очень любил горские наречия (из воспоминаний Евгения Хараидзе).

Неудивительно, что в поле зрения прозы Басила Меликишвили, наряду с прекрасными вершинами Кавказа, оказались мифология, обычаи и неповторимые характеры обитателей гор. «Оказывается, снег остался лишь на вершинах Кавкасиони, туман ненадолго покинул хребты, и на гору, где возвышалась Чадская крепость, высыпал народ. Внизу бушует Арагви, несет сорвавшиеся со скал глыбы. А с горы



Чадской крепости льется пшавская песня усталых косарей, и это еще больше тревожит Арагви — сводит ее с ума. Шаловливый шелест косы в траве напоминает шипение змей, и на склоне возвышается горец — здоровяк Хведиаи», — так вводит читателя в восхитительный мир грузинских гор автор «Темногрудой ласточки».

Другой рассказ, в котором горы предстают в ирреальном тумане мифологической памяти, эпических традиций и характеров, архетипов, — это «Отсеченный палец». «Однажды, когда Иамта окутал туман, ты миновал деревню, Бадри, и укрылся в лесу платанов, — обращается Басил Меликишвили к своему похожему на Миндия герою. — Моросил дождь, и лес как бы плакал и хмурился. Ты прошел в лес, вышел на пастбище, туман лежал перед тобой, едва доставая до колен. Казалось, ты идешь по большому озеру. Туман с хребта опускался на речку, увлажнял, заставлял плакать траву. Кое-где в воздухе плыли его сиротливые клочки, и ты, подобно им, мыкался по оврагам и котловинам».

Своего романтического героя Басил Меликишвили ввел в мир Важа, представил духовным братом Миндии, нашел ему и антипод и, противопоставив Бадри Джарджи, еще раз показал вечный антагонизм между духовно раскрепощенными и духовно ограниченными людьми.

Наверное, знаменательно и то, что для героя наиболее трагического рассказа Басила Меликишвили именно восхождение на гору становится символом духовного катарсиса и обновления. Эта тема стремления к вершине, одоления высоты сопутствует драматической коллизии рассказа «Турман».

Любовь к горам проявляется и в письмах Басила Меликишвили. «...Хотя бы ты не писал мне последнего письма, — пишет он родственнику, — оно меня страшно взволновало и заставило задуматься. Твое письмо принесло с собой шум Арагви и ветерок Пасанаури... Арагви, Арагви, не знаю, почему я люблю ее? Может быть, потому, что это — горная река? Потому что она шаловлива и дика? Не знаю, не знаю... Люблю, наверно, еще и потому, что Арагви взрастила моих предков...»

Отсюда и тема рассказа «Турман», его трагизм и пафос, трагическая история одинокого человека, борющегося за физическое спасение своих соплеменников, и в час нравственного прозрения понявшего, что провидение возложило на него сложную задачу — спасение от духовного и морального падения всех окружающих.



Пассаж из письма Басила Меликишвили, в котором любовь к Арагви он объясняет зовом крови предков, — отнюдь не поэтическая метафора. Его предки — выходцы из горского села Хандосхеви; в другом письме Басила читаем такой исполненный боли пассаж: «Горцы доставили мне радость (если можно на этом свете испытать мне радость). Такое ощущение, в моих жилах течет их кровь... Мои предки родились в Хандосхеви, и мне кажется, и я родился там».


С особой остротой Басил Меликишвили ощутил свою отдаленность от обители предков, когда заболел туберкулезом. Он был уверен, что чистый воздух, вода, горные травы заменят ему всякие лекарства, продлят жизнь.

Заболел Басил в Метехской тюрьме, куда был заключен за участие в восстании 1924 года. По тому же обвинению расстреляли его отца, и эта травма стала еще одной причиной неизлечимой болезни Басила.

Чудом вырвавшегося из тюрьмы, его ждали тяжелейшие проблемы: отсутствие средств к существованию, поиски работы, забота о семье — несовершеннолетних братьях и сестрах, о собственных сочинениях. Тревожило ощущение приближающегося конца.

Духовные невзгоды, тяжкая жизнь человека, которому подрезали крылья, стремление к свободе и неосуществимость этого стремления оразились в наиболее трагическом образе-символе прозы Басила Меликишвили — Квиринаи, отмеченном печатью бараташвилевского «Мерани». Арканы, приготовленные для поимки этого необъезженного жеребенка, воспринимаются его собственными оковами и оковами, от которых никак не освободится его родина. «Лохматогривый» Квиринаи, жеребец-жеребенок — можно сказать — духовный портрет художника. Бессмертие непокорного духа не дает покоя ничтожным смертным, старающимся поймать и обуздать Квиринаи. «Лишь только двурога луна, этот крошечный нарост на небе, жалкая и грешная... перевалила через хребет, следом за ней выскочил Квиринаи, лохматогривый жеребенок... Людские взгляды в деревушках устремились вверх. Они различили: жеребенка Квиринаи, цветом черного, как непроглядная ночь, распростертого на горе, как вырубленная чинаровая роща. Да, жеребенка дикого, неприрученного. Люди бросились за ним, стали преследовать его. Но почему не удалось им сломить жеребенка? Лишь только двурога луна перевалила через хребет — вас одолела жадность, люди. Стряхните с ног грязь, вооружитесь арканами и вперед, к хребту!»





Этот символ приобретает более глубокое значение в «Темногрудой ласточке», где царевич Александр, обращаясь к кавказским горцам, говорит: «Вы окружены гяурами, как необъезженный жеребенок, вырвавшийся в поле, обложен людьми с арканами. Нужны бдительность и умение вставать на дыбы, дабы враги не смогли покорить вас с помощью арканов».

Судьба отдельной личности зачастую повторяет судьбу нации. Несостоявшееся студенчество, любовь, оставшаяся мечтой, чувство неудовлетворенности, сомнение в собственных силах, в друзьях, скитание по чужим домам не имевшего жилья бесприютного молодого человека, единственное богатство которого — тетрадь рассказов, написанных дрожащей рукой. Этот портрет, естественно, никак не соответствует патетическому фону «социалистической действительности» 20-х годов. Басил Меликишвили дружил с Теренти Гранели, но в отличие от Теренти, обладал прочной внутренней осью, твердостью характера, которая запомнилась его друзьям: «Даже неизлечимая болезнь не смогла одолеть его неукротимой натуры: он постоянно тревожился и беспокоился о литературе». В тех же воспоминаниях хорошо схвачена особенность творческой природы Басила: «Было очевидно, что его язык, стиль, сюжетная композиция не испытали чужого влияния. Оригинальная манера изложения определяла характер его стиля, своеобразный синтаксис и лексику. Словообразование было лишь внешней стороной его сочинений. Главное в его рассказах — безграничный патриотизм, духовность и своеобразное видение мира, восприятие, свойственное только ему».

Свою творческую миссию, свою неповторимость Басил Меликишвили чувствовал лучше всех. Он сравнивал свою судьбу с надвигающимся самумом. «Наши слезы, кажется, пролились обо мне... Думаю, почему самум обрушился на меня, чуть не уничтожив, но в последний момент зачем-то пощадив меня. Что моя жизнь, — меня нет среди живых (благодаря изоляции, отступничеству) и нет среди мертвых (жизнь еще не покинула меня). Я должен скитаться, то мне хорошо, то мучусь от болей...»

Мысли о смерти, ожидание конца появляются сперва в прозе Басила Меликишвили, а потом уже в его письмах. Появляются, как предчувствие, как страх, но, вместе с тем, как готовность и желание достойно и красиво умереть. Стремление к эстетизации смерти (столь характерное для поэзии и поэтической прозы начала XX столетия) особенно образно проявилось в миниатюре «Раскрытые глаза». «...Остановился



человек. Насторожился, превратился в слух, дабы лучше услышать внутренний зов, дабы лучше уловить глас из таинственного мира. Все вокруг застонало и смолкло, а человек последовал за зовом и скончался. В полночь, когда над горой пронеслась буря».

Басил Меликишвили ушел из жизни в 1930 году, всего 26-ти лет от роду. Его, как Турмана, поглотило пространство, и он утонул в бездонном небе.

Имя Басила Меликишвили спустя десятилетия вновь вернулось к нам и подарило радость сопричастности прекрасному художественному миру, для которого характерны таинственность, поиски первоосновы.

В поэтической палитре Басила Меликишвили как будто преобладают темные тона, но на строгом черно-белом фоне не раз сверкнет превосходный живописный образ. «Безмолствовали залатанные стены, и огонь окутывал замшелые камни», — пишет Басил Меликишвили, изображая заход солнца в миниатюре «Бетания».

«Бетания» и «Уплисцихэ» — законченные живописные зарисовки, возвышенные поэтические оды, насыщенные глубокой трагичностью. Окрестности этих памятников, их «залатанные стены» дороги писателю как призрак давно прошедшего, как образ вне времени и вне пространства, обостряющий национальные чувства и рефлексии, приобщающий к вечности.

Здесь невольно вспоминается мистическая новелла Нико Самадашвили «Бетания», которая написана в том же душевном ключе и является прекрасным образцом лирической прозы, на которую вдохновил писателя храм.

В поэтических картинах Басила Меликишвили сплетены воедино вечность, повседневность и быт. Реальные детали подчеркивают каждодневность, в которой растворена вечность, и писатель внутренним взором приобщается к ней.

Поэтическое воплощение Бетания и Уплисцихэ доставляет читателю «радость необыкновенную, глубокую». То же можно сказать о миниатюре «Квиринаи» и вообще обо всей модернистской прозе Басила Меликишвили.





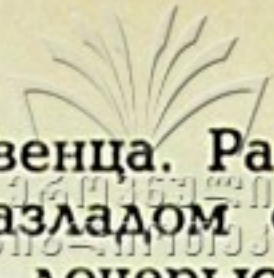
# АТРОПОС

(ASHERONTIA ATROPOS)

Алла была единственной дочерью у одинокой матери. Мать работала в отделе подписных изданий книжного магазина в одном из новых районов Тбилиси; к обязанностям своим относилась серьезно, не уклоняясь от общественно-профсоюзной, партийной или другой какой-нибудь деятельности, а с недавних пор стала даже принимать участие в работе избирательных комиссий, и сообразно со своим мировоззрением справедливо пользовалась всеми правами разведенной женщины. Девочка же росла с бабушками — родной и двоюродной. Жили они в трехкомнатной стандартной квартире, из окон которой с южной стороны была видна канатная дорога, протянутая к горе Мтацминда. Бабушки вязали, смотрели в окно, наблюдали, как меняются краски на склонах горы с каждым временем года; в кувшинчики, вазы, горшочки ставили они полевые цветы, ветки желтинника с красными листьями; и вязали в ожидании редких гостей, вязали и при гостях после чая. Вязали без усталости, неторопливо, не выпуская спиц из рук. Чутко следили за жизнью внучки: обсуждали ее друзей, ее учебу, говорили о ее будущем. Одна из бабушек, вспоминая прошлое, сетовала, что никакой радости в замужестве не видела, другая же, напротив, сожалела о прожитой впустую жизни.

Алла училась в русской школе, по окончании ее поступила в университет на один из факультетов грузинского сектора. Девочка гордилась своей грузинской фамилией. Любила своего отца, вернее, была рада, что он у нее есть и что ей наконец-то удалось сблизиться с ним за время приемных экзаменов. Отец был красивым, веселым и мужественным; от него, как и подобает, пахло табаком, с детства она этого не помнила.





Отец же не успел полюбить своего первенца. Радость появления ребенка была омрачена разладом с женой. Он не верил, что Алла была его дочерью, впрочем, неосознанно, по-своему даже любил ее, но до конца своей так и не признал. А девочка росла, и ее сходство с отцом становилось все отчетливее, ко времени же окончания школы эта веснушчатая рыжая девочка удивительно походила на своего смуглого черноволосого отца.

Мать возвращалась вечерами поздно, ласково гладила уже спящую дочь, длинные, унизанные кольцами пальцы ее перебирали рыжие пряди волос девочки. Но время шло, и вот уже мать сама дожидалась по вечерам возвращения дочери-студентки. Тревожным и бессонным было ожидание матери. Не ложились спать и бабушки; прильнув к окнам, вглядывались они в полумрак улицы, в запруженный машинами общий двор. Вздрагивали при каждом звуке останавливающейся машины, от дребезжания лифта. Алла вбежала запыхавшаяся, покрасневшая, и уже с порога начинала тараторить, мешая правду с ложью.

Отец приложил все усилия, чтобы определить дочку в вуз. Сама девочка тоже не сплеховала, не подвели и знакомые и друзья отца. Единственное, за что пришлось отцу выложить круглую сумму, был экзамен по грузинскому. У отца водились деньги, и он не поскупился на взятку. Ведь это было ничто по сравнению с тем, что отец с дочерью наконец-то вновь обрели друг друга; правда, для отца эта девочка так и не стала до конца родной.

В университете Алла сблизилась с однокурсницей Теей. Вскоре они стали неразлучными подругами, на лекциях сидели рядом, не расставались и после занятий. У Аллы появилось много поклонников на курсе и на факультете. Тея проигрывала на фоне подруги, хотя, несмотря на худобу и небольшой рост, была по-своему привлекательной, обаятельной и довольно бойкой. На первом же курсе девочки одновременно влюбились в молодого лектора, преподавателя общественных наук, совратившего студентку-старшекурсницу. То ли его принудили к браку, то ли он женился по своей воле; во всяком случае, спустя два месяца у



них родилась дочь; на одной ножке у ребенка оказалось шесть пальцев.

Подружки погоревали из-за неразделенной любви (насколько глубоко были их чувства, особенно со стороны Аллы, сказать трудно) и сожгли дневники, которые вели независимо одна от другой.

Во время весенней сессии к Тее приехал двоюродный брат из Зугдиди (так она его представила), оказавшийся, как выяснилось, всего лишь дальним родственником; приехал он на автомобиле «ГАЗ-24». Гость несколько раз возил девушек за город в промежутках между экзаменами. Как-то он привел с собой двух приятелей — студентов политехнического института. Одного представил как своего товарища, а про другого сказал, что он племянник дядиной жены. Девочки сели в машину, но не поддались на уговоры двоюродного брата и «племянника дядиной жены» прокатиться за город и решили ехать по домам, чтобы подготовиться к экзаменам. Тея вышла из машины у телецентра — на деловое свидание с неким Аленом, фамилии которого она не знала. Алла осталась в машине, домой она той ночью не вернулась. Начались звонки, поиски. Подняли с постели Тею, которая снимала комнату без телефона. Тея ничего не знала об исчезновении Аллы. Я, говорит, вышла у здания телевидения, чтобы встретиться с Аленом. По какой-то непонятной причине, а скорее всего безо всякой причины, Ален на свидание не явился. Тея отправилась к нему домой, но не нашла его и там. Соседи сказали: никакой Ален здесь не живет. Оператор телевидения Котэ, студент-заочник университета, знавший девочек в лицо, сказал, что видел в тот день Тею у входа на телестудию и рядом с ней — высокого молодого человека. Тот заметно выделялся своим ростом, пояснил он, но позднее заметил: «Не исключено, что они оказались рядом совершенно случайно, и, возможно, даже не были знакомы». Тея сказала, что не помнит никакого высокого человека, стоявшего рядом с ней, она непременно обратила бы на него внимание, поскольку рост — ее слабость, ей самой его так недостает. Потом она припомнила, что студент политехнического, с которым познакомились они в тот день и который всю дорогу молчал, напоследок продиктовал ей номер



своего телефона, попросив записать, но Тея, чтобы отвязаться, сказала, что запомнит его и так. Она стала сокрушаться, что не записала тот номер, но почему-то никто не обратил на это никакого внимания. На следующий день удалось разыскать зугдидского парня, но не по номеру телефона, а по номеру машины, и чтобы не вызвать у него подозрений, попросили предъявить водительские права и технический паспорт. Он стал объяснять, что машина переоформлена на имя матери, но на учете состоит в Тбилиси по старому адресу отца. Документы, мол, тоже у отца, который в данное время скрывается. Молодой следователь, который не раз загонял в угол допрашиваемого, был сбит с толку и, выйдя из себя, спросил без обиняков — где она.

— Алла? — изумился парень. — Где она может быть?!

...Тея вышла из машины у телестудии, возле лестницы ее ждал высокий парень в белом костюме, возможно, депутат или мастер спорта, с виду ему было года двадцать два... Алла вышла у Дворца спорта, в машине остались мы одни — племянник жены дяди и его товарищ, которого я не знаю. Они были недовольны, что я отпустил девочек, сказали, что не поедут дальше, и высадились у политехнического института напротив памятника Георгию Саакадзе. Это все, что сумел вспомнить хозяин машины. Пришлось отыскивать его спутников. Один из них в самом деле оказался студентом и даже, как ни странно, племянником дядиной жены. Второй же, не получивший даже среднего образования, был, как выяснилось, неоднократно судим. Студент повторил слово в слово версию зугдидца, а не раз судимый заявил, что «вабче» ничего не знает и что в этой машине оказался случайно. Студента и его приятеля задержали, но через три дня, после вмешательства знакомых и близких, а также за отсутствием улик, освободили. Аллу не нашли ни через день, ни через два, ни через три. А на четвертый день случилось нечто странное. Тея вспомнила во сне выпавший из памяти номер телефона товарища племянника жены дяди ее двоюродного брата. На радостях Тея посреди ночи вместе с дочерью квартирной хозяйки Светой Гвилава отправилась пешком ко Двор-



цу профсоюзов и там из уличного автомата позвонила по номеру, который вспомнился ей во сне. Трубку на другом конце провода подняла Алла. Она отвечала измененным голосом. А потом сказала: пусть мама не беспокоится, я скоро вернусь.

— Ты где сейчас? — спросила не переводя дыхания подруга.

— Совсем близко от тебя, — услышала Тея в ответ. — Я даже вижу вас из окна, ты звонишь из автомата, а Света Гвилава стоит рядом, на ней юбка-брюки лилового цвета.

Тея поднесла трубку к уху Светы. Та вроде бы узнала голос Аллы, но, как объяснила позднее, сказать с уверенностью, что это была именно она, не могла.

Откуда, из какого места находящийся на другом конце провода абонент мог видеть стоящих под навесом телефона-автомата девушек и даже подробно описать их одежду?!

Пришлось осмотреть верхние этажи жилых домов и учреждений, опросить жильцов и сотрудников организаций. Следствие (как и предполагалось) не дало никаких результатов, а номер телефона, приснившийся Тее, относился к другому району, в частности к одному из отделов Министерства культуры. В просторной комнате с высоким потолком стояло семь столов, и никто из сотрудников этого общего отдела ничего ровным счетом не знал ни об Алле, ни о Тее, ни о Свете и ни обо всей этой истории. Лишь к вечеру того дня общественность города и республики узнала о случившемся.

Было сделано объявление:

Вышла из дома и не вернулась студентка такого-то вуза (фамилия, имя, отчество и т. д.). Рост — выше среднего, пышногрудая, волосы огненно-рыжие, на лице едва заметные веснушки. Глаза зеленовато-синие. На шее серебряное с кораллами ожерелье. Если кому-нибудь известно о местонахождении девушки, просьба позвонить в милицию или на квартиру (номера телефонов).

На второй день после объявления Аллу нашли в Худадовском лесу. Тело было засыпано сухой палой листвой. Обнаружил ее монтер электромеханического



завода некто Невзоров, который (как он сам объяснил) искал припрятанную там бутылку водки. В кармане у него оказалось серебряное с кораллами ожерелье. Невзорова случайно задержал и на всякий случай обыскал участковый другого района Пицхелаури, который покупал поблизости сигареты. На теле жертвы были обнаружены явные признаки насилия. Одежда и нижнее белье — разорваны. Была установлена дефлорация *flos virginis*.

Никаких следов ударов холодным оружием или тупым предметом. Поверхностный осмотр легких и сердца показал, что смерть наступила в результате удушья. На место происшествия прибыли работники следственного отдела и прокуратуры. Идентичность найденного тела не вызывала сомнений, и тем не менее для опознания вызвали отца Аллы и Тею. Матери и бабушкам пока ничего не сообщили. — Если можно, не надо показывать ее в таком виде матери, — попросил потрясенный отец, впрочем, это уже была его проблема, а не следствия. Возвращаясь домой на машине, он наехал на стоящий у обочины старый «Москвич». В это время водитель-инвалид, пригнувшись в своей машине, подглядывал за женой, которая сидела в парикмахерской. — Чтоб тебе пусто было, — ругаясь, он с трудом выволок больную ногу из машины, — что ты сделал с моей машиной, как мне теперь быть? На звук удара сбежались прохожие, стали обвинять отца. Он не оправдывался, не стал говорить, что в машине у него тело погибшей дочери, что безусловно произвело бы должное впечатление на толпу. Но ему не хотелось делать это. К тому же детей своих он делил на настоящих и ненастоящих, и упомянув о покойной (ненастоящей) дочери, он, как ему казалось, мог накликать беду на своих настоящих детей, бывших предметом его неустанных забот и хлопот. В этой неразберихе и перепалке инвалид забыл про жену, а вернувшись домой, застал ее там. Она утверждала, что в этот день никуда не выходила.

Покойницу привезли в закрытом гробу, матери посоветовали не открывать крышки. Женщина подчинилась, не выразила никакого протеста. Неподвижно, будто окаменев, просидела она весь день и всю ночь на одном месте; ничего из того, что происходило во-



круг, она не понимала и не воспринимала. Постоянные посетители панихид, любители трогательных сцен оценили этот факт по-разному — одни положительно, другие отрицательно. Пошли пересуды и толки — не только в доме, но и в вузе, в учреждениях и даже в вышестоящих государственных органах. Товарищи по университету хотели собрать деньги, как это было принято, но кто-то высказал мнение, что поскольку мать девочки не грузинка, то незачем вручать деньги Грузии представителю народа, с которым отношения в последнее время обострились. И мероприятие это по политическим соображениям заглохло.

Во время предпоследней панихиды зазвонил телефон, и женский голос попросил подойти мать Аллы (по-видимому, звонившая не знала даже ее имени). — Уважаемая, — понизив голос, ответил находящийся в это время в холле близкий семье мужчина, — разве вы не знаете, что здесь происходит?

— Знаю, потому и звоню, пусть подойдет к телефону! — резким голосом потребовала женщина, не называя себя. Мужчина растерялся, не знал как быть. — В таком случае, передайте ей, — сказала незнакомка, поняв, что ей не удастся переговорить с самой матерью, — пусть не ломает комедию и не оплакивает чужую покойницу. Она прекрасно знает, что дочь ее жива.

— Кто вы?! — Последовало молчание, затем слышались частые гудки, доносящиеся откуда-то издалека, возможно, даже из другого города. Потрясенный услышанным мужчина пытливо оглядел присутствующих, как бы боясь, что кто-нибудь мог подслушать этот разговор. Он решил никому не говорить про этот странный звонок, но потом не выдержал и пересказал нескольким друзьям дома весь этот разговор, добавив от себя, что все это чушь и лучше, мол, никому об этом не рассказывать. (Но инцидент уже получил огласку). Дошел слух и до матери Аллы. Она подумала и попросила открыть гроб. Ее отговаривали, но она стояла на своем. Пришлось подчиниться: осторожно, с опаской приподняли крышку гроба, мать заглянула внутрь и увидела свое рыжеволосое дитя. Черты лица девочки были разглажены, будто она только уснула. В ту ночь мать задре-



мала, потом вдруг проснулась в тревоге — было уже за полночь. Ей привиделась дочь: девочка просила похоронить ее в белом платье. Мать терла виски, силясь восстановить подробности сна, пытаюсь понять, о каком белом платье говорила дочь. Может, ее девочка хотела отойти в вечный мир в белом подвенечном платье или в школьной форме с белым фартуком, в котором она так выделялась среди сверстниц, когда заканчивала школу?! Ни то, ни другое. Сшили и надели на девочку просто белое платье, которое в день похорон засыпали алыми цветами. Мать сидела у изголовья, разглаживала рукой новую ткань, никого не видя вокруг.

Было жарко даже на кладбище, утопающем в зелени. В тишине опустили Аллу в могилу. Мать, одетая во все черное, взглянула на гроб и повернула обратно, высоко подняв голову, не проронив ни слезинки. Люди молча, не отводя от нее глаз, расступались перед этой высокой стройной женщиной, красивой, но уже утратившей женственность.

Облаченные в траур женщины из других похоронных процессий, присевшие на цоколь чужой могилы, чтобы дать отдохнуть распухшим ногам, привстали при виде ее, сочувственно глядя ей вслед.

Настала осень.

Окрасились багрянцем кусты желтинника на горе Мтацминда.

Старушки уже не вязали, перестали беседовать. Бабушка стала глохнуть, сестра ее — терять зрение. Мать вышла на работу. В доме поселилось одиночество, пахло бальзамом и увядшими полевыми цветами.

А матери снова приснилась дочь. Она просила прийти к ней на могилу, говорила, что прилетит туда большая бабочка — ее душа.

Мать пошла. Разложила цветы на огороженной березовыми брусками могиле и села на скамью. В тишине и безмолвии откуда-то издалека донесся протяжный плач, сменившийся затем гомоном птиц. На кладбище царили звуки тишины, от легкого ветра колыхались верхушки деревьев. Изредка еще не увядшие, но уже пожелтевшие листья опадали с ветвей на могилы.

Прилетела бабочка-атропос. Она порхала и кружи-



ла над могилой, издавала какие-то звуки — казалось, птица когтями царапает стекло. Никогда до этого мать не видела такой бабочки — черно-желтой окраски с изображением черепа на брюшке. И ни разу не слышала, чтобы бабочка издавала такие звуки. Покружила, попорхала бабочка и опустилась на плечо матери. Звуки прекратились. Взмахнув еще раза два крыльями, бабочка переместилась ей на грудь.

Мать сидела не шелохнувшись, замерла и бабочка. Солнце садилось, осыпался желтый песок, отсчитывая время. Желтые лучи окутали женщину с бабочкой.

На узкой тропинке появилась работница кладбища. Продираясь сквозь кустарник, она громыхнула ведром о железо ограды. Мать очнулась, бабочка улетела.

После шести часов неподвижного сидения на могиле у женщины затекли ноги, они не подчинились ей, когда она попыталась встать. Работница кладбища, оставив ведро, помогла ей подняться. — Я тут ухаживаю за могилами, вот и сейчас поставлю эти цветы в воду. — Мать поблагодарила ее и ушла, не сказав ни слова о бабочке.

Недели через две на могилу собрались бабушки. С букетами полевых цветов в руках стояли они вместе с матерью Аллы на улице в ожидании такси. Мать вдруг забеспокоилась, ей показалось, что она оставила включенным то ли утюг, то ли еще что-то, и захотела вернуться в дом. Бабушки пытались отговорить ее, уверяя, что никто из них ничего сегодня не гладил, но мать настояла на своем и, оставив на улице бабушек, терпеливо ожидающих машину с цветочками в руках, вернулась домой.

Уже отпирая двери, она почувствовала запах гари. Пойдя на запах, она вошла в комнату дочери, подняла глаза на фотографию Аллы, висящую на стене, потом взгляд ее скользнул по кровати, на которой была аккуратно сложена одежда девочки. Возле гладильного стола в углу комнаты стояла Алла в коротенькой рубашке, едва прикрывающей ей ноги и грудь. В руке у нее был утюг, она растерянно смотрела то на мать, то на разложенное на гладильном столе белое платье, от которого и исходил запах гари. — Я сожгла платье. — грустно сказала девочка, не размыкая губ.



— Ничего, детка, — ответила ей мать, вскрикнула и потеряла сознание. Соседи застали ее в глубоком обмороке, они вошли в квартиру вместе с бабушками, которые, не дождавсь ее на улице, вернулись домой, едва держась на ногах от усталости.

На следующий день мать позвонила отцу и нескольким его ближайшим родственникам и объявила, что необходимо вскрыть могилу. Ей пытались втолковать, что это уже слишком, что ни в коем случае нельзя этого делать, но она продолжала настаивать. К ней привели экстрасенса, женщину, которая сказала, что не может повлиять на «эту личность». Тогда пригласили парапсихолога Рафо Мачутадзе.

— Здравствуйте!.. — У него был мягкий бархатный голос.

Он сел. Молча оглядел комнату, взглянул на увеличенную фотографию Аллы на стене.

— Да, — произнес он после тяжелой паузы.

Потом снял пиджак, и мать, увидев сорочку с пропотевшими подмышками, потеряла к нему доверие, которое почувствовала поначалу.

— Вы надели на покойницу белое платье, не погладив его, так ведь?

Женщина отвечала кратко, но и эти краткие ответы казались ему затянутыми, так как он знал каждый ответ наперед.

— ...Назовем это тоской по новому невытуженному платью или же комплексом утюга. В тот день вы, может, и не думали о платье, но на ваше сознание влиял вышеупомянутый комплекс, подсознательно беспокоил вас. Отсюда специфический запах гари. Утюг, который вы в тот день вообще не включали, воспринимался вами, как общая модель утюга, и это раздражило рецепторы вашего мозга, вызвало иллюзию запаха, за которым несомненно последовало видение, так трагически повлиявшее на вашу психику.

Понимая все, мать тем не менее считала необходимым вскрыть могилу, стояла на своем, и никакие аргументы не могли изменить ее решение.

На следующий день в присутствии семи человек (и близких, и посторонних) могила была вскрыта. С трудом извлекли из нее гроб, открыли и увидели ржа-



вое пятно от утюга на подоле белого платья покойницы.

Потом пришла зима.

Падал снег на склоны Мтацминды, на сады и крыши домов, хотя в Тбилиси это обычно длится недолго. В теплой комнате сидели мать и две бабушки. Бабушки все так же теряли одна зрение, другая слух, но вновь принялись за вязанье. Вязали и вязали, медленно, не останавливаясь. И зима медленно выходила из круговорота. В комнате все еще стоял запах панихидных цветов и бальзама. Время от времени звонил телефон, чей-то голос требовал, чтобы они убирались из Грузии, возвращались к себе на родину. Но не было у них другой родины, и не знали они, куда им ехать. Звонки и угрозы по телефону не прекращались. На кладбище стояла кладбищенская зима, тихая, задумчивая. Дрозды уже пощелкивали в кустах, в густом плюще, обвивающем ограды. Матери уже не снились сны. Черной тенью бродила она среди могил и несмотря ни на что ждала, ждала весну.

## ГУИА А.

Из окна сквозь туман виднелся шпиль церкви Петропавловского кладбища, каменная ограда лазарета. По ту ее сторону проходила железная дорога, и два электровоза, громыхая, катили груженные мазутом цистерны. В просветах между цистернами с черными маслянистыми потеками мелькали кипарисы, ограды иobelisks.

— Поднимите брюки! — обратился к неподвижно стоящему у окна Гуиа А. сексолог Александрэ Шермадин и сполоснул руки над желтой эмалированной раковиной.

— Да, да, конечно! — вздрогнул Гуиа А., поднял брюки и потуже затянул пояс на впалом животе.

Поезд за окном скрылся из виду, только рельсы и насыпь мерцали на плоскости. По шпалам понуро брел человек. Купол церкви и шпиль отражали холодное солнце, проглядывающее сквозь туман, где-то за лазаретом, на горе Шавнабада.

— Такие вот дела! — произнес Александрэ Шермадин, снял с себя белый халат и закинул на вешал-



ку с торчащим кверху крючком. — Необходимо больше откровенности в наших отношениях, но на сегодня достаточно. Дело, я думаю, не только в бесплодии... Возможно, бесплодна сама ваша супруга... Возможно!..

Он сидел у окна. Свинцово-тусклый свет падал снаружи на гладкую лысину и упругую гнущуюся шею.

На углу Петропавловского кладбища, у насыпи за шпалами, заляпанными мазутом, остановился катафалк и несколько легковых машин. Высадившиеся оттуда люди группами стали у полуразрушенной кирпичной стены. С катафалка спустили гроб.

«Не встанет, как и он».

— ...Больше откровенности, повторяю, больше откровенности... Дело ведь не только в этом, но сеанс будем считать законченным.

«Больше я сюда не приду!»

Гуиа А. насупил черные брови и через некоторое время присоединился к процессии.

Далеко впереди (над головами беседующих вполголоса людей), кренясь, покачивался гроб, проплывая в тумане вдоль кипарисов. Гуиа не знал, эту процессию увидел он из окна лазарета или другую. Трех редакций, двух издательств, одного экстрасенса и одних похорон, наверное, было достаточно для одного пасмурного дня... Впрочем, время у него еще оставалось.

Он брел вверх по узкой дороге вслед за поредевшей, растянувшейся в длину процессией. Кое-где на обочине и в лабиринтах железных оград еще оставался мерзлый снег.

Взгляд его вдруг выхватил из толпы длинные ноги и упругий обтянутый синим пальто зад. Сунув подмышку папку, которая болталась у него в руке, он прибавил шаг.

«Она или не она?»

Обогнав ежившихся от холода горожан, он поравнялся с женщиной в синем пальто, опередил ее на полшага и, оглянувшись, увидел смуглое волосатое лицо. Гуиа А. замедлил шаги, вздохнул — не она. Он знал, что сегодня она должна была быть на похоронах, но на чьих? В Тбилиси столько кладбищ, и кто знает, скольких похоронят в последний четверг февраля сего года...



«А как похожа со спины!»

И снова, отыскав глазами обтянутый зад, он пошел следом.

Сладкая истома охватила его ниже пояса.

«Сейчас у меня получилось бы. Неужели помогло!»

Тут в толпе он заметил одного из редакторов в элегантном пальто с отложным воротником и лацканами. Редактор беседовал со своим спутником, энергично размахивая рукой и глядя прямо на Гуиа А., не замечая, впрочем, его, хотя тот вот уже который раз кивал ему своей черной лохматой застуженной головой.

Длинноногая женщина скрылась из виду, а участники процессии, свернув с тесной дороги, разбрелись по тропинкам, ветвясь, подобно капиллярам, просачиваясь сквозь узкие щели между оградами и решетками могил, продираясь через колючие заросли кустарника.

Гуиа А. все еще кивал редактору, застрявшему среди могил. Редактор же продолжал беседовать с мужчиной с лошадиным лицом и смотреть на Гуиа А., по-прежнему не замечая его. Дым из трубы в кирпичной стене церкви смешивался с туманом. Издалека доносился чей-то плач, кто-то тесал камень в тумане. От тенистых могил, укрытых желтой хвоей и обнесенных колючим кустарником, от безветрия и тишины веяло блаженным покоем, и хотелось прилечь. На рыхлой сырой земле стоял гроб, откуда высвечивался восковой профиль седовласой женщины.

«Старуха, оказывается!»

Редактор в элегантном пальто, опираясь одной рукой о серую ограду, как видно, вразумлял мужчину с лошадиным лицом.

— Можно вас на минутку?! — Гуиа А. просунул руку между прутьями ограды. Редактор отпрянул, как ужаленный, обернулся, побледнел, сердце у него заколотилось. В этот момент Гуиа снова увидел женщину в синем. Она стояла неподалеку, привалившись грудью к решетке чьей-то могилы.

«Похожа на мою, с ней бы у меня получилось».

— Что вам нужно?! — спросил редактор.

— Как там мои стихи?!



«Поэт, оказывается, кретин!» — с облегчением вздохнул редактор, стараясь дышать ровнее, чтобы скрыть охватившую его тревогу. Он принял было этого насупленного крючконосого типа с плаксиво опущенными вниз уголками рта за вооруженного шприцем наркомана, который станет требовать у него денег.

— Какое время говорить сейчас о стихах?

— Я просто спросил.

— Ты ведь уже был у меня.

— Да, был.

— Я же тебе уже сказал!

— Сказали, и другие тоже сказали, и все-таки хотелось бы знать, как там...

— Чего тебе еще хотелось бы знать?.. — натянуто улыбнулся редактор, оглядываясь на мужчину с лошадиным лицом, одетого в меховой полушубок. Тот молча, недоуменно поглядывал то на одного, то на другого.

— Тогда я приду прямо в издательство.

— Зачем?

— Просто загляну.

— Загляни, но ко мне не входи...

— Не приходите?

— Я ведь сказал, приходи, но не входи.

— Как же тогда вы мне скажете?

— А что тебе еще сказать, все ведь уже сказано, другие тебе тоже сказали. Нельзя же так, в самом деле... — Редактор снова оглянулся на своего спутника — видали, мол, такого. Люди уже потянулись к выходу, и он тоже решил повернуть обратно. Выйдя на дорогу, провел подошвами по асфальту, улыбнулся про себя и, перейдя на противоположную сторону кладбища, направился вглубь между обелисками, но выхода не нашел и, обойдя холодные гранитные постаменты, пошел по чьим-то подмерзшим следам, отдалился на достаточное расстояние и осторожно оглянулся. Никто не смотрел в его сторону, хотя издали он хорошо был виден сквозь голые кусты. Вдруг ему в глаза бросилась ворона, примостившаяся на черном мраморе могилы. Как только он взглянул на нее, она, не шевельнув крыльями, запрыгнула на верх могильной плиты, оттуда переметнулась



на цоколь. Редактор надел темные очки. Остатки мерзлого снега под кустом окрасились в сиреневый цвет, а крылья вороны по краям стали еще чернее. Ворона села на сиреневую ветку очень близко от него и стала раскачиваться. Редактор удивленно уставился на птицу своими больными глазами, смотрел до тех пор, пока сиреневая ветка не застыла в неподвижности и ворона перестала качаться. На мгновение все вокруг замерло, исчезли все звуки. Было слышно лишь дыхание тумана. Сиреневая ветка едва заметно шевельнулась. Ворона упрямо неподвижным взглядом смотрела на мужчину. «Интересно, что ей нужно?!»

Как только он расстегнул брюки, ворона перепрыгнула на соседний куст.

Свободной рукой (вторая, опущенная вниз, была занята) он погрозил ей. Птица вспорхнула, пронеслась перед самым его носом так близко, что он ощутил на щеке прикосновение теплых крыльев и горячего клюва.

«Чуть не ущипнула меня, мать ее!..»

Выходя из третьего за этот день издательства, Гуиа А. вспомнил Александрэ Шермадина. У этого лысого мужчины была упругая, гнущаяся, как бычья жила, эластичная шея.

«...Чушь все это, не пойду больше к нему, хватит и одного этого сеанса. Побольше, говорит, откровенности. Разве может откровенность что-нибудь поднять, когда все вокруг подминают меня под себя, сама жизнь не дает мне подняться... Книгу не печатают, роман не читают... Стихи выкидывают из плана, и в этом плане, тоже неизвестно, я то ли есть, то ли нет, нигде меня нет... И здесь меня нет, и там меня нет, где я?!»

Было около четырех, когда вернулся редактор — человек, получивший повышение еще в детстве. Снял с себя дорогое пальто, повесил на вешалку, взглянул на секретаршу и машинистку. Пригладив мокрые волосы, снял темные очки, открыл дверь кабинета и своими близорукими глазами увидел ворону, сидящую у стола на стуле, на который обычно садились самые уважаемые или самые наглые авторы. Она не была похожа на ту, кладбищенскую ворону и казалась крупнее и смысленнее той — с белой грудкой и черными



крыльями и спинкой. Блестящие черные глаза и клюв ее были робко опущены.

— Элиза! — позвал редактор, спешно прикрыв дверь кабинета. — Кто оставил окно открытым?!

— Я только что открыла его, чтобы проветрить кабинет. Никто не входил!

— Ну-ка взгляни, как это никто не входил! Иди, иди, посмотри сама.

— Только что никого здесь не было, никого... Правда, звонили, но я сказала, что вас нет, спросили, когда вы будете, я сказала, что сегодня вас уже не будет... Мы и не ждали, что вы вернетесь, между прочим, потому все и ушли...

— Почему ты оставила окно открытым, Элиза?!


— Всего на одну минутку, хотела проветрить...

Напуганная шумом ворона вылетела в окно, пролетела над домом Мелик-Азарянца и уселась на ветку пихты перед выкрашенным в лиловый цвет собором Славы. У старой пихты, как видно, давно обломалась верхушка, и верхняя часть ствола стала гладкой от времени. Всего три ветки и одна покореженная шишка уцелели на старой пихте. Растопыренные на одной плоскости ветки напоминали веерную пальму.

Ворона впервые в жизни сидела на дереве с тремя «гамаками». В душном мареве, удивленно сверкая глазами, она разглядывала улицу, поднимающуюся вверх, телефонные будки, газетный киоск, часть низкой лестницы в школьном дворе, склон Мтацминда, электролинии троллейбуса, ощущая у себя за спиной Александровский сад и островерхий купол Кашуэти. Внизу сновали люди и машины.

На постаменте памятника Илье и Акакию рядом с грудой наваленных в беспорядке школьных сумок лежали красные гвоздики. Малышня гонялась друг за другом вокруг памятника, выуживала остатки снега из-под садовых скамеек. Какой-то мужчина огромной лопатой сгребал нарастающий снег на мостовую. Машины переезжали почерневшие снежные комья, густые брызги с шуршанием разлетались из-под колес. В сером тумане сновали серые прохожие, поравнявшись друг с другом, равнодушно расходились, продолжая каждый свой путь. Некоторых из





них он узнавал, глядя сверху. Прихрамывая и опираясь на палку, остановился посреди тротуара мужчина в берете А. Г. — лауреат премии Геннадия Цурцумия. Он огляделся вокруг, пригладил густые усы и устоялся на дерево и на собор Славы. Одинокую сидящую на ветке ворону, по всей видимости, не заметил. А. Г. выглядел озабоченным. А может, и до этого был чем-то обеспокоен. Это он выполнял обычно заказные работы, и Гуиа (кто его спрашивал!) недолюбливал его, как и многие другие. А. Г. писал о правительственных приемах и ведомственных командировках, о рождении кассира, о Дне ассенизатора и пр. Писал обо всем, о чем ему хотелось и не хотелось писать.

А. Г. был дворником в литературе. Не будь его, оду в честь ассенизатора пришлось бы писать тому, кто сегодня осуждал его и осмеивал.

«...Я ведь и сам понял это только сейчас, после того, как превратился в ворону... А сколько всего еще предстоит мне понять!»

Стоял конец февраля, близилась весна, но было еще холодно и туманно. В овраге Верэ вороны охрипли от крика, хлопая крыльями в верхушках сухих топей. «Карр, карр, карр! Задохнулись и млад и стар».

Словно перышки, скользили птицы в тумане, то скрываясь, то выныривая из него, то сливаясь как бы в единое крыло большой птицы, описывали серую дугу в просторе неба.

«Я не смешаюсь, не сравниюсь с ними. К тому же они, похоже, такие злые, что сами не захотят принять меня в свою стаю, заклюют!»

Она появилась на лестнице в школьном дворе, остановилась на нижней ступеньке (верхней ему не было видно) в облегающем синем пальто, в сапогах на высоком каблуке, прижимая к груди тетради, устоялась на собор Славы, на церковь Кашуэти; ворону явно не замечала. А та по-вороньи пялилась на нее с дерева. Сквозь плотную ткань различала крутые бедра и округлый, чуть выдающийся живот. Гуиа А. смотрел на ту, которую одиннадцать лет регулярно, на правах супруга, безуспешно пытался оплодотворить. Теплая волна разлилась у него по спине, серо-черные перья вздыбились вдоль позвоночника.

«...Сейчас я смог бы, чувствую, что смог бы, но



она уже не помирится со мной... Мочь-то могу, но поздно... К тому же я еще не знаю, кто я — самец или самка!»

По тротуару шла группа интуристов. Видно, из Музея искусств или из Дома художников с выставки работ Кинцурашвили направлялись к гостинице «Ориант», где их, по-видимому, поселили. Перед собором Славы один из иностранных гостей поднял голову, взглянул на дерево и, увидев на пихтовой ветке с покореженной шишкой огромную грузную ворону, ошалел. У него тут же началась икота. Остальные туристы тоже с изумлением стали разглядывать ворону.

«Никогда ворону не видели, сукины дети?!» — подумал Гуиа А., хотя на лице у него, разумеется, ничего не отразилось.

— Какая огромная, откуда она взялась?

— Выросла, наверное... — задумавшись, ответил местный гид.

— До таких размеров?

— Не такая уж она крупная, в конце концов.

— Это же не Кинцурашвили, чтобы не разглядеть ее, слишком она большая...

— Вообще-то вы правы, она большая, но аналогичные случаи у нас бывали...

— Не может быть! — не поверил иностранец.

— Почему же, очень даже может быть... Практически здесь не бывает даже безработных ворон... А за подобными экземплярами у нас особый уход, у них отличное питание, они окружены вниманием и заботой...

«...Чтоб ты так жил, до каких же пор будешь брехней заниматься!»

Один из туристов, новозеландец, который, по-видимому, был орнитологом и, исходя из этого, хорошо разбирался в воронах, во всеуслышание заявил: это, мол, разновидность вороны с загнутым хвостом *C. Levillantii*.

— Отличается крупным клювом, — продолжил он по-русски, — и большими размерами. Распространена на Сахалине, Курильских островах.

«Сахалинская» же ворона, напуганная уже одними этими словами, взлетела вверх, пролетела над крышами со множеством установленных на них антенн,



через сады, скверы, мосты и аптеки. Во дворе лазарета она увидела Александра Шермадина, который тайком, за моргом делал зарядку. Обутый в «аидасы», лысый, с трясущейся эластичной, подобно бычьей жиле, шеей, бегал он вдоль глухой стены морга.

Вечерело. Холодное солнце опускалось за туманные склоны Шавнабады. Сквозь влажный дым вырисовывались контуры Петропавловского кладбища. Острохвостая черная собачонка бежала вверх, в сторону церкви. В трех колоколах под куполом — большим, среднем и малом — отражались лучи заходящего солнца. Из трубы, выглядывающей из окна церкви, валил дым, растворяясь во влажном тумане, в серых тонах окружающего. Небо темнело и медленно опускалось на пустынное кладбище. За оградой запоздалые музыканты играли на дудуки. И хоть звуки доли и кларнета смешивались с глухим лязгом буферов и перестуком колес, на кладбище все же царило безмолвие.

Огороженная кустами можжевельника, сирени и боярышника могила была усыпана сухой золотистой хвоей. В тиши и тени на могильной плите сияли свежие цикламены...

«Вечный страж моей могилы».

«Нежнейшая сестра моя — тишина».

«...Страшно и одиноко мне станет ночью на кладбище. Я приоткрою крышку гроба и голый выбегу из могилы...»

Теперь я пишу сам.

В тумане видны пустынные холмы Арсенала. Нет здесь уже немецкого кладбища. Нет и жертвенного барашка с красной лентой во дворе церкви. Холодно, пахнет весной. Время уничтожает могилы, время уничтожает воспоминания, время дробит время.

«...На столе письмо, в нем спящая буква «А».

За стеклом сверкают сухие белые ветви: в свинцовой тишине, трепыхаясь, подобно черным хлопьям, кружат серо-черные птицы. «Карр, карр, карр!»

Вижу холод, смотрю на серые хлопья, вспоминаю, ищу потерянную могилу несчастной девушки Аллиди Отто\*.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

---

\* Романтический образ из стихотворения Теренти Гранели.



Арчил СУЛАКАУРИ

ЛИШЬ ОДНАЖДЫ

Памяти Георгия Леонидзе.

Пусть на виноградник юный  
Облако дождем прольется.  
Улетел мой сокол ясный,  
Не вернется, не вернется.

Я иду, но сам не знаю —  
Путь куда и путь откуда.  
Лело я пронес однажды.  
Повторится ль это чудо?

Колокольню лишь однажды  
В Божьем храме я воздвигнул,  
Только раз до Дарубанди  
Рубежи свои раздвинул.

Только раз возвел во Мцхета  
Вечный храм Светицховели.  
Повторится ли Дидгори,  
Где врага мы одолели?

Лишь однажды мне приснился  
Сон любви — какой весною?  
Лишь однажды двери рая  
Распахнулись предо мною.

Пусть на виноградник юный  
Облако дождем прольется,  
Улетел мой сокол ясный,  
Не вернется, не вернется.

И на чьей он рукавице  
В ожидании победном?  
И кому златую чашу  
Наполняет он шербетом?



Пусть теперь он колокольню  
В храме Господа воздвигнет,  
Рубежи до Дарубанди  
Пусть другой теперь раздвинет.

Пусть другой теперь возьметса,  
Возведет Светицховели,  
Пусть он повторит Дидгори,  
Где врага мы одолели.

Пусть ему теперь приснится  
Сон любви, и рай весною  
Пред другими распахнется,  
Как когда-то предо мною.

Пусть на виноградник юный  
Облако дождем прольется.  
Улетел мой сокол ясный,  
Не вернется, не вернется.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ



Манана ЧИТИШВИЛИ

### ВРЕМЯ

Дни минувшие время туманом объяло.  
Остается сомненье, остается зола.  
Ты мне снился вчера. Я тебя потеряла,  
Как нелепа утрата и как тяжела...

Я живу без тебя. Солнце ярким узором  
Расстилагается; по сердцу будет плясать.  
Я теряла года, теплоту твоих взоров,  
Лишь тебя, лишь тебя не смогла потерять.





Закоулки судьбы и сверканье событий,  
 И свершений изломы — неужто для нас?  
 И лишь муки, лишь крест — вместо счастья открытий,  
 Вместо свадебных тостов — распятия час,

Подскажи, звездочет, справедлив и проворен,  
 Неужели и время продаст и предаст,  
 О, безжалостный жнец... Все под корень, под корень.  
 Скосит, лоб ототрет — и зевнет во всю пасть.

\* \* \*

Не только мы вдыхали запах нив  
 И шурились от солнечного буйства.  
 Но, сотворяя будущего миф,  
 Уйти достойно — высшее искусство.

Уже пропели о Златом Руне,  
 А я скажу об иве, бурей битой,  
 О, рыцарь у разбитого корыта,  
 С тупою саблей, на худом коне...

\* \* \*

### ГДЕ НАЙДЕШЬ?

Нет погибелью нетронутой  
 В светлом сказочном лесу,  
 Нет копытцами исхоженной  
 Тропки ланей к водопою...  
 И звезды, откуда, Боже мой,  
 Осенишь ты нас добром,  
 Наши сабли не наточены,  
 А у них — готовы к бою.

### МОЕМУ ЛАШЕ

Наш закуток — подобие дворца,  
 где разливают солнышко щедроты.  
 Во имя Вседержителя — Отца,  
 и Сына, и Святого Духа — годы  
 теперь не смеют наступать, губя,  
 я весело, я радостно их трачу,  
 а старость подойдет — я зиму спрячу  
 за пазухою, Лаша, у тебя.



\* \* \*

Сердце так иссохло, так устало,  
Съежилось и обессилело,  
Шлет молитву даже тетиве,  
Приютившей верную стрелу.



\* \* \*

Вот первый снег.  
Я встану до рассвета,  
Пройду, назад печатая следы.  
Пусть говорят —  
Что это ты вернулся,  
Пусть думают —  
Навек вернулся ты.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ





Котэ ДЖАНДИЕРИ

## ПРИГЛАШЕНИЕ В КИНО

«Как мне писать вам, почтенные отцы сенаторы, что писать, чего пока не писать вовсе? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем та, которой погибаю вот уже много дней».

Тиберий Цезарь

Я лежу в кровати. Глаза открыты. А мозг решает странную, бессмысленную задачу: «Лежу ли я давно или лег только что?» Часы показывают шесть. Утро или сумерки — не разберешь: все вокруг погружено в холодный, серый полумрак.

Периодически до меня доносится непонятный, монотонный звук, похожий на шорох или царапанье. Откуда он идет? Может, за стеной, в соседской квартире кошка скребется в дверь спальни? Может, мой сосед умер? Или это ветер, завывая, гоняет по грязному асфальту первые сухие листья незаметно подкравшейся осени? А может, я просто свихнулся? Ничего не понимаю.

Но зато понятна причина боли в боку — это «Женский портрет» Генри Джеймса в твердой обложке. По-грузински произносится вроде «Хэнри Джеймз», но для того, чтобы такое выговорить, надо иметь в кармане хотя бы пять рублей, и при этом, чтобы от боли не лопалась голова и ты не работал в «Грузгосглавшахтострое». Ну, а если все эти три блага при тебе, то воздушное, с придыханием «Хэнри» звучит фальшиво. Ты должен глухо и четко произнести: «Генри Джеймс, автор выдающегося «Женского портрета», ученик Тургенева, европеизированный американец, который пишет как русский!» Если я не идиот, кто заставляет меня



читать этот гениальный понос, и, вообще, что нужно «Женскому портрету» в постели нормального мужчины? В постели требуется совсем другое.

Всю жизнь я думал, что смогу написать книгу и по-лучше, и за эту гордыню был наказан опустошенностью, безденежьем и «Шахтостроем».

Иногда мне кажется, что я умер. Порой, во время бриться, вижу в зеркале незнакомого, страшного человека, грозящего мне опасной бритвой. Эта худая, хмурая личность — Харон, который хватает мою почившую душу и тащит на другой берег вонючей речушки. Блядь!

Звонок. Хорошо, что я поставил телефон возле кровати. Сквозь хрип в трубке слышу:

— Это я, что делаешь?

Догадываюсь — Нинцо. Что ей ответить?

— Что делаешь, спрашиваю? — повторяет она вопрос.

— А что я должен делать? Валяюсь.

— Наклюкался вчера?

— Да.

— Бедняга! И с кем это?

— Какое имеет значение? Главное, не с твоим бывшим мужем. Тебя ведь это интересует, не так ли?

— Мне наплевать, если даже это и так. Приходи ко мне.

— Дома выпить найдется?

— Нет, отец все выдул...

— Тогда мне у тебя делать нечего.

— Прогуляемся.

— Нинцо, ты же знаешь, я подыхаю, выпивки нет ни грамма, а в кармане двадцать с чем-то копеек. Ну как я приду?

— Пиво устраивает?

— Да, что за пиво?

— Заграничное. По-моему, немецкое. Одну бутылку для тебя стырю.

— Ладно, тащи!

— Принесу, если пойдешь со мной в кино!

— Принесешь две бутылки — пойду.

— Торгаш!

Нинцо скучает. Что с тобой творится, Нинцо? Ребенок? Но ведь ребенок — это хорошо, очень хорошо.



Если бы не твоя дочка, то после развода с этим педрилой ты окончательно спятила бы. Сейчас ты откроешь шкаф, задумаешься и вновь закроешь. «Я иду к доктору, детка, скоро вернусь!» — и заявишься ко мне в домашних брюках и в старом джемпере... Твои выходные шмотки очень дорогие, а я сижу без денег — не будешь же ты «комплексовать» меня. Дура ты, дура, Нинцо! С мужчинами ведешь себя так же, как с подругами. Не выйдет из тебя толку. Хорошо еще, что у тебя дочка. Ох, башка трещит! Если идешь, так иди скорее, неси свое пиво. Потом я немножко подремлю в твоей машине и очнусь только тогда, когда мы остановимся у кинотеатра. Сопляки возле кассы повернут головы и подумают, что ты моя любовница, такая красивая, просто одетая, да к тому же за рулем собственной машины. Тебе это доставит удовольствие, и ты подмигнешь мне. Ну и черт с ними, пусть думают, что ты моя любовница, разрешаю. Звонок, наконец-то я спасен! Ты и вправду одета по-домашнему, но сумочка из змеиной кожи выдает тебя...

— На кого ты похож, несчастный?

— На задницу. Давай сюда пиво.

— На.

— Разговор как будто шел о двух бутылках!

— Вторая в машине. Принеси я ее, ты бы выхлестал обе, завалился на тахту и оставил бы меня без кино.

Странно, почему тебе взбрело в голову пойти в кино именно со мной? А-а-а! Подружкам недосуг, мужья, дети и еще «кое-что»... А может, тебе льстит, когда сопляки-бездельники с завистью провожают нас взглядами?..

Хорошее пиво, к тому же холодное.

Ставлю бутылку на стол. Нинцо садится на край тахты.

— Чего расселась? Если идем, так идем!

Нинцо смеется:

— Ты что, в трусах намерен идти?

Дома сидеть осточертело, но и мерить шагами мостовую совсем не улыбалось. Поэтому я согласен на поход в кино. К тому же есть еще одна бутылка из отцовских арсеналов!

Он у Нинцо министр. Но прежде чем стать мини-



стром, работал в некоем производственном объединении. Там изобрел какой-то измерительный прибор, в вознаграждение за это его послали на работу в Алжир, куда он и отправился с семьей на три года. Его прибор мы совершенно справедливо называли «чегототамкретинометром». Зато Нинцо на Средиземноморском побережье выучила французский. Правда, люди знающие утверждают, что это примитивный уличный жаргон, но уважаемый Тенгиз весьма гордится своей дочерью и ему нравится ее алжирский акцент. Впрочем, что с него возьмешь — ему и Паата, бывший муж Нинцо, очень нравился, он был против их развода, но Нинцо ему такое устроила, что он вынужден был смириться. Более того, даже свою старую машину подарил разбушевавшейся дочери. А эта идиотка еще нос от него воротит. Самая большая мечта Нинцо — иметь отца вроде Павле Ингороква, Геронтия Кикодзе или кого-то там еще, на них похожего.

Думаю, поход в кино отменяется, я протягиваю Нинцо брюки: — Взгляни...

— Это что, следы вчерашней попойки?

— Черт возьми, надо же было пролить «Саперави» именно на это место.

— Плохи твои дела, «Саперави» не выводится.

— Ну почему прямо на это место...

— Пустяки, в кинотеатре все равно темно.

— А пока свет не погаснет, прикажешь обоссавшимся ходить?

— Надень джинсы.

— Джинсы я подарил.

— Ты что — дебил?

На лице у нее было точно такое же выражение, как во Дворце бракосочетания, когда она должна была поцеловать своего мужа, — растерянное и обиженное.

— Ничего не поделаешь, я искренне хотел пойти с тобой...

— Прошу тебя, поищи какие-нибудь старые брюки.

— Мама с Тиной все повыбрасывали.

— Ну придумай что-нибудь.

— Придумал! Снимай свои джинсы и кидай их сюда.

— А я?

— У тебя такие красивые ноги — грех их скрывать.



— Хорошо, я согласна. А ты в них влезешь?

— Я ношу сорок восьмой.

— А у меня сорок шестой, но эти мне великоваты.

— Снимай.

К моему изумлению, Нинцо встает, сбрасывает туфли, снимает джинсы и протягивает их мне.

— Послушай, ты в своем уме?

— Давай, давай, одевайся.

Ноги у нее и вправду красивые, просто великолепные! Джемпер скрывает бедра.

— Немного узковаты, но ничего — весь Зестафони так ходит.

— Ты меня утетила... Сама-то так и пойдешь?

— Надену платье Тины.

Нинцо выходит в комнату Тинико, скрипит дверь платяного шкафа.

— Когда твои возвращаются? — спрашивает она.

— Откуда мне знать, думаю, через неделю.

— А Тинико что собирается делать?

— Наверное, выйдет замуж за своего охеревшего художника. Картозия, видите ли, ей не по душе, этой дебилке!

Надеваю измятую рубашку. Разве можно ходить в таком виде? Нинцо-то что — все платья Тинико подарены ею. Чей гардероб ей отворять, свой или моей идиотки-сестры, — один черт. Наконец Нинцо выходит в коротком белом платье.

— Пошли?

— Погоди.

Я достаю из кармана своих загубленных брюк расческу-открывалку для бутылок. Сей драгоценный предмет приобрели мы с Бадзой в городе Иваново в один из своих хмельных вояжей. Только в Иваново могло взбрести кому-то в голову скрестить расческу с открывалкой для бутылок.

В подъезде такая вонь, что я подумываю, не вернуться ли назад. Нинцо сбегает по лестнице, играя перехваченными в виде «конского хвоста» соломенными волосами и насвистывая какую-то мелодию. «Что нужно этой женщине (да еще в белом платье) среди этой вони? Никак не могу связать Нинцо и запах мочи. Иногда мне кажется, что все выпивохи города заходят об-



легчиться в мой подъезд. Впрочем, не исключено, что эту лужу напустил вчера я.

— Что делает Анка?

— Что ей делать — сживает нас со свету, если, разумеется, не болеет. — Нинцо открывает дверцу машины и садится. Сажусь и я.

— А тебе не стыдно? — говорит Нинцо. — Мог бы и зайти как-нибудь. Все время о тебе спрашивает.

— Я очень люблю Анку.

— Тем более.

Едем в сторону «Воронцова».

— Ты знаешь... Мне трудно общаться с детьми, не знаю, о чем с ними говорить.

— Ты думаешь, обязательно о чем-то надо говорить?

— Непременно.

— Мне кажется, достаточно их любить. Им больше ничего и не нужно... Впрочем, и взрослым тоже, учти.

— Это все — красивые слова. В действительности все совершенно иначе. Меня тошнит от всех. Все требуют каких-то заверений, каких-то бесконечных разъяснений, оценок. Никак не поймут, что мне нечего сказать, абсолютно нечего. За два года я не написал ни строчки потому, что нечего сказать этому мерзкому миру. Хочу написать на дверях большими буквами: «Оставьте меня в покое!..» или же раздобыть большой мегафон и проорать в него во всеуслышание: «Убирайтесь, мать вашу!..»

— Выпей пива. Придешь в себя.

Мы едем через мост. Кура маслянисто-тяжелая, почерневшая. В ее ленивой воде ничто не отражается. День кончился, но ночь еще не наступила. Только узкая полоска вечерней зари выбивается из-за края стелющихся облаков. Эта сверкающая полоса похожа на занесенную косу, которая вот-вот смахнет верхушки облетевших чинар, купола грузинской и армянской церквей, беспорядочно торчащие на крышах домов телевизионные антенны и голубой минарет единственной сохранившейся в Абанотубани мечети. Этот город раздражает меня, но я его люблю. Я тот самый кит, которому опостыдели соленые воды океана, он взмывает высоко в воздух, мокрый и блестящий, чтобы в следующее же мгновение многотонная тяжесть тела вновь вернула его



в бездну невыносимой, но родной стихии. С удовольствием открыл бы дверь и выпрыгнул из несущейся машины, но как выпрыгнуть из собственной головы? В моем теле нет двери, или же она открывается только вовнутрь, чтобы всосать в себя замечательное пиво «Радебергер»... Местная анестезия...

Из окна машины виден сумеречный Александровский сад. Нинцо направляется к Колхозной площади. Мне почему-то нравится эта вонючая площадь с ее базаром и неопрятным людом, с хинкальными, пропитанными прокисшим пивным духом, с беспрестанным грохотом трамваев. Мои нервы — трамвайные рельсы, по которым безостановочно грохочут железные колеса. Колхозная площадь — чрево города, грязное, изъязвленное чрево. Здесь — скопище остатков еды и осколков личностей, объедков и выброшенных на свалку общества типов, а рядом — полевые цветы, хризантемы, гвоздики и георгины — цветочный рынок. Были бы деньги, купил бы Нинцо один георгин.

— Может, навестим армянского князя? — спрашиваю я.

— Позавчера видела его у автовокзала, едва держался на ногах.

— А что случилось?

— Жена от него сбежала. Взяла Адель и ушла. Всю дорогу ругал ее — «Блядь, да, блядь» — и плакал. Соседи помогли вытащить его из машины, он уже ничего не соображал.

— Он действительно Аршакуни, или врет?

— Откуда мне знать.

— Ненавижу жен!

— А ты не приводи в дом блядь. Сперва съешь с ней пуд соли.

— Нинцо, ты когда-нибудь повзрослеешь?

Мы выехали на площадь Ленина. Здесь все вылизано и перемешано: псевдомавританский стиль, армянский псевдоампир, псевдоклассицизм, псевдоконструктивизм, сталинизм и так далее. Кругом одно «псевдо»! На мой взгляд, площадь очень украсила бы пустая бутылка из-под «Радебергера», но псевдостраж порядка, опершись задницей о свой мотоцикл, поглядывает в нашу сторону. Бросаю бутылку под ноги.



— Хочешь скажу, почему ты не женишься? — говорит Нинцо.

— Любопытно.

— Синдром геронтофилии: в детстве ты был влюблен в тридцатипятилетнюю женщину, на втором курсе втюрился в сорокалетнюю, а теперь не знаешь, что делать, — не жениться же в самом деле на шестидесятилетней?.. Что скажешь?

— Скажу, что распространяешь обо мне сплетни — ни разу в своей жизни в древность не влюблялся.

— А Эллен?

— Эллен, Эллен... Тогда я еще не знал женщины, а девственницы казались мне непреодолимым препятствием.

— Вот, вот, в этом вся сущность ваша, современных мужчин, — вы хотите, чтобы женщина была бы для вас одновременно и учительницей, и любовницей, и кормилицей.

...Ну что за дебилизм, эта «Эллен» через два «л»! Эленэ была матерью моего одноклассника, не помню уже — то ли она пела, то ли танцевала. Скорее всего пела — такая красивенькая шлюшка... В конце концов она бросила семью и вышла замуж за баскетболиста. Но это случилось значительно позднее, когда мы закончили школу. А тогда я целыми вечерами торчал у их дома, чтобы хоть краем глаза увидеть черные волосы или белые руки, которые вывешивали мокрую сорочку моего одноклассника. Конечно же, это патология! Дело дошло до того, что я написал поэму. Можете себе представить?! Поэму о прекрасной женщине со странным именем «Долорес», о парне, который любил эту женщину, и о девушке, которая вздыхала по парню, сохнущему по женщине по имени Долорес. Потрясающе! Сейчас уже не помню почему, но парень вообразил, будто прекрасная Долорес полюбит его, если до Нового года он пошлет ей тысячу и один стих. В один прекрасный день парень заболел какой-то неизлечимой болезнью. Он слег, однако страдал исключительно из-за того, что не мог больше писать стихов. Но преданная и любящая девушка вместо него сочиняла меланхолические сонеты и от его имени посылала той, о которой он мечтал. Под конец, в одно прекрасное весеннее утро



открывается дверь и в комнату парня входит блистательная Долорес с тысячью и одним стихотворением в руках. Финал совершенно непонятный и помпезный:

И полыхали синим амулеты,  
И проливали вина краснопенные, (кто?)  
И пели так чарующе сирены  
Эпитафию невозвращения. (кому?)

Бурные, продолжительные аплодисменты, все встают! Легко себе представить, что случилось бы с поблядушкой Эленэ, прочти она этот шедевр! Я был уверен, что она явится ко мне на тайное свидание, закутанная в черную вуаль, и со слезами на глазах скажет: «Вы разрушили мою жизнь!» А потом, всеми проклинаемые, мы убежали бы из города в неприступные горы, чтобы соединить свои жизни до самой гробовой доски, хрустальные ручейки приносили бы нам прозрачные лепестки цветов, и эти лепестки были бы нашей единственной пищей. Короче, все это походило на блевотину, которую исторгаешь после первой юношеской попойки. Что касается Эленэ или Долорес, не знаю, но на Нинцо все это произвело огромное впечатление. Сектантское чутье не подвело меня, когда именно ей я доверил свою тайну. Она только-только вернулась с романтических берегов Средиземного моря. Знала два-три отрывка из Беранже и французскую портовую ругню. В ее офранцузенных устах эта похабщина звучала поэзией. Ребята таяли, когда Нинцо с видом непорочной девы произносила: «Va chier»...

— Глянь-ка, что идет в Доме офицеров, — говорит Нинцо.

— Что?

— Посмотри быстрее, что там идет!

— А-а, не успел разглядеть.

Мы медленно едем в среднем ряду. Справа и слева — вереницы машин. Одна за другой зажигаются витрины и лампы. Яркие дрожащие блики посверкивают со всех сторон.

— Ты что, заснул? Кажется, там идет что-то стоящее.

— Не выношу Дом офицеров, никакой акустики.

— В передних рядах слышимость нормальная.





— Тогда вернемся.

— Где мне здесь развернуться?

— Не знаю.

— Поехали в «Казбеги».

— Там будут показывать что-нибудь заумное. Я не готов к этому.

— Что же делать?

— Ладно, поехали в «Казбеги».

Похоже, мы привлекли внимание идущей рядом машины — на нас бросают высокомерные взгляды сидящие в ней местийские или, возможно, казбегские парни с неподвижными шеями. Интересно, что они думают обо мне? Что касается их мыслей о Нинцо, тут все ясно.

Что только не лезет в голову. Откинувшись на спинку кресла, я вглядываюсь в твой профиль и расплывчатые магазинные вывески, стремительно проносящиеся на его фоне. Я думаю сразу обо всем, голова, как мешок старьевщика, полна всякого хлама, каких-то фраз, обрывков воспоминаний, эротических сцен, каменного угля, шахтных срезов, сентиментальных мелодий, полузабытых лиц, бутылок коньяков иностранных марок, печальных пейзажей, воплей паровозов, Гургеном Аршакуни, которого бросила жена, и тобой, моя безмозглая Нинцо, вернее странным ощущением того, что ты существуешь, и среди стольких увиденных картин ты единственная, кто неуловимо ускользает от меня. Возможно потому, что твой профиль находится вне меня? Может, ты нечто единственное в мире, что живет независимо от меня? Я думаю, моя голова — то место, где скапливается весь городской мусор. Видимо, ты все же не мусор, раз не попала в этот ящик для отходов. До меня доносится лишь твое дыхание. Ты часть этого города, скорее воздух, которым он дышит.

Я думаю о женщинах, попавших в мою помойку и там разложившихся постепенно. От них остался один пепел. Голова моя полна пепла. Я огромная пепельница, на дне которой дремлет океан пепла. Это прах забытых женщин, умерших друзей и неизвестных предков; и в этом безграничном океане дремлет горсть пепла моего идиотски погибшего отца...

Это случилось тогда, когда Нинцо почти закончила переписывание моей гениальной поэмы, я же посто-



янно носил в кармане конверт, на котором рукой все той же Нинцо был выведен адрес калбатони Эленэ... Хорошо помню: в полночь к отцу пришли из комиссариата. Странная суматоха, неясные голоса разбудили меня. Я расслышал встревоженный голос моей матери. Кто-то ответил ей по-русски. Раздался звук упавшего на пол тяжелого предмета. Затем смех отца. Я встал с постели и открыл дверь, ведущую в «большую» комнату. В ослепительно ярком свете я увидел двоих в форме. Моя мать с поникшими плечами стояла у шкафа. Отец складывал в рюкзак смену белья и еще что-то.

— Что случилось, война началась? — спросил я, ни к кому не обращаясь.

— Нет, у них репетиция, — с улыбкой ответил мне отец.

— А ты при чем?

— Забирают на две недели, на сборы, — сквозь слезы сказала мать.

— Ладно, ладно, твоих слез только не хватало, погуляю эти две недели и вернусь, а вы тем временем отдохнете от меня.

Он только-только вернулся из экспедиции, даже не успел побриться. На нем был связанный матерью грубошерстный свитер и брезентовые полевые брюки. В тон ему я ответил:

— Ну смотри, не подведи меня, Хэм! Привези мне шкуру бегемота.

— Непременно привезу и заверну в нее высушенную голову их комиссара. Ну, надеюсь, у вас все будет в порядке!

Через неделю из Орджоникидзе пришла весть о его гибели.

Хорошо помню и тот день, когда его привезли. Нинцо все время была с нами, слушала бесконечный скулеж и всхлипы Тинико. Дом внезапно заполнился народом, шепотом, стуком приставляемых к стенам стульев. Я спустился во двор. Несли что-то длинное, покрытое простыней. Соседские дети высыпали на балконы. Это казалось дурным сном, который почему-то не кончается. Я чувствовал себя мухой, попавшей в прозрачное желе. Злоба душила меня. Все мое существо протестовало против этого идиотизма. Разве это не был идиотизм? Оказывается, обалдевшие от такти-



ческих учений, они устроили в конце первой недели пир в казарме. Уверен, что организатором этой общенародной гульбы был мой отец. Выпивки не хватило. Ничего не стоило уговорить окосевшего офицера махнуть в Балту, что возле Орджоникидзе, там жил друг моего отца мохевец Бено. Он продавал негодное вино и травил осетин. Не мешкая, мой отец, Саша Курдгелашвили и офицер отправились к Бено. За руль посадили восемнадцатилетнего солдатика. На обратном пути машина перевернулась. Офицер и мой отец погибли, водитель серьезно пострадал, Саша сломал ногу. А двадцатилитровая бутылка с вином осталась целехонькой. «Когда мы перевернулись, эта проклятая бутылка упала прямо на меня и чуть не продавала мне грудь и живот», — рассказывал потом Курдгелашвили... Из-за этой бутылки я чуть не свихнулся. Оцепенев, стоял я во дворе. Подходили какие-то люди, подталкивали меня к лестнице, вплотную придвигали к моему лицу свои возбужденные физиономии и убежденно говорили глупости. А я плакал от злости и отчаянно хотел ругаться. Вдруг я почувствовал, кто-то осторожно и молча обнимает меня. Это была Нинцо. И в эту минуту я впервые пожалел мою маму.

Потом мы долго сидели в парке и смотрели на озябших воробьев. Когда Нинцо уже затрясло от холода и она стала походить на нахохлившуюся птичку, мы вернулись домой. Кабинет, увешанный портретами Хемингуэя, пополнился двумя портретами моего отца.

Я не люблю вспоминать о том, как умер отец. Только раз, напившись, рассказал об этом Бадзе. Именно тогда мы решили поставить стометровый монумент в форме бутылки для вина, на котором золотыми буквами должно было быть высечено: «Этот странный памятник посвящается отцам, у которых хватило совести не стать министрами, но не хватило воли найти для своей души лучший сосуд, чем стоящая перед вами винная бутылка».

— Дай сигарету, — говорит Нинцо.

— Нету, оставил в моих брюках.

— Очень хорошо.

— Что «очень хорошо»?

— Хорошо, что оставил. Я решила бросить курить.

— Почему?



— Чтобы жить долго, быть здоровой и не обременять Анку уходом за мной.

— При чем здесь Анка? Просто боишься смерти, только и всего.

— А ты что, смерти не боишься?

— Нинцо, когда же ты наконец повзрослеешь?

— Что ты пристал ко мне со своим «повзрослеешь, повзрослеешь», — вскипела вдруг Нинцо. — А я и не собираюсь взрослеть.

— Ясно, это болезненная тема для женщин.

— Очень ошибаешься, если думаешь, что меня волнует количество морщин.

— Что же тогда?

— Я думаю, «повзрослеть» — это значит при всех ситуациях владеть своими эмоциями и ни на что не надеяться.

— А ведь твоя любимая Библия учит нас, что тот, кто полностью владеет собой, сильнее того, кто овладевает неприступными крепостями.

— Сдаюсь. Ты — завоеватель замков и крепостей, поэтому вылезай и иди за сигаретами.

Нинцо останавливает машину у дома Мелик-Казарьянца.

— Деньги есть?

— Будто не знаешь, что нет!

Она протягивает мне рубль. Я выхожу.

— «Колхети» не покупай, они горькие, я их не могу курить.

Так холодно, словно на дворе уже ноябрь. В магазине тепло и пахнет прогорклым маслом. Низенький тщедушный тип улыбается мне. Господи! Как же его фамилия?! Отхмезури! Руки он мне подать не может, так как из подмышек у него торчат бутылки с шампанским.

— Куда собрался?

— К Мерабу, встречаем Рождество.

— Ты что, какое время «Рождество»?

— Откуда мне знать, дамы сказали, что сегодня Рождество.

Догадываюсь, что он пьян.

— Послушай, пойдём со мной, а? — неожиданно предлагает мне Отхмезури.

Шампанское выглядит явно соблазнительно.





— Что за компания?

— Мераб, я, Кики и еще кто-то.

— А Паата?

— Да, и Паата тоже. Пойдем, бля, давно мы с тобой не виделись! Паата встретил Бадура. Тот тоже обещал зайти.

— В другой раз. Желаю вам счастливого Рождества...

— погоди, ты чего! Я на машине, сядем, поедем.

— Ты же пьян!

— Ну и что — сегодня рейдов не будет! Поехали, поехали.

— Ладно, приду попозже. У меня сейчас дела. Приду потом.

— Врешь, знаю, что не придешь.

— Я же сказал, что приду. Точно.

— Жду. Только без обмана, ты же знаешь — я не тот человек...

Еле отделяюсь от него. В этом занюханном гастрономе продаются только болгарские сигареты. Женщины любят болгарский табак. Впрочем, им все равно что курить. Главное — процесс... Они убеждены в том, что с зажженной сигаретой в руке выглядят более эротично. Как бы не так!..

У машины Нинцо стоит какой-то детина, нагло уставившись на нее через парприз. Беру его за локоть и рывком разворачиваю к себе.

— В чем дело, браток? — хрипло спрашивает он меня.

— В том, что здесь неподалеку подземный переход!

— Что-о?!

— Хочешь — скатывайся сам, хочешь — с моей помощью, дошло?

У него черные усики и покрасневшие глаза. Явно не задира. Обалдело смотрит на меня, не знает, что сказать. Нинцо мне гудит. Рукой делаю знак, что иду, и в этот момент ощущаю страшный удар по уху. На какой-то миг в глазах темнеет, и я теряю равновесие, ну не маразм ли? Сажу на заплыванном тротуаре и вижу, как эта усатая деревенщина вскакивает в тронувшийся троллейбус. Дерьмо! Вокруг меня уже стоит с десяток кретинов с разинутыми ртами.

— Очень больно? — спрашивает Нинцо, помогая



мне подняться. Без слов иду к машине. Голова моя  
словно муравьиное гнездо. Нинцо заводит машину.

— Езжай за троллейбусом! — говорю ей и чувствую, как прилившая кровь душит меня.

— Больше делать нечего.

— Езжай, говорю.

— Слушай, не пора ли тебе поумнеть? Ты же знаешь, что из любой драки выходишь битым. Ну чего ты лез к нему?

— Ты хочешь, чтобы я спустил этому дерьму?

— Что он такого сделал?

— Нагло разглядывал тебя.

— Пусть бы себе разглядывал. Уж лучше он, чем никто.

— Все вы шлюхи!..

— Премного благодарна. Сигареты купил?

Без слов протягиваю ей коробку «Родопи».

— Что ты столько времени делал в магазине?

— Встретил Отхмезури. Они пьют у Мераба. Приглашал меня.

— Кто этот Мераб?

— Хахаль Кики, или что-то в этом роде. Встречают Рождество.

— Рождество?.. Хотя от Кики всего можно ожидать. Пойдем, если хочешь.

— Не хочу.

— А кто там будет?

— Никто. Просто не хочу и все.

— Ну а все-таки, кто там будет?

— Слушай, отстань, мне сейчас не до Отхмезури и его пьяных патологий. Стоит ему напиться, начинает сводить счеты с жизнью.

— Что ты говоришь? А я считала его одноклеточным...

— Так и есть. Однако таков он во хмелю. Однажды я уже спасал этого дебила.

— Что-о?

— А ты не знала? У Гегенава, что живут напротив, как-то был кутеж. Орали до трех часов ночи. Я не спал, курил. Вдруг вижу, на гегенавский балкон выходит Отхмезури, в полной отключке. Довольно долго смотрел во двор. Затем вдруг перенес одну ногу через перила. Позвонить я бы уже не успел. Схватив ру-



жье отца, я высунул его в окно и заорал: «Если немедленно не уберешься от перил — вклею пулю прямо в лоб!» Можешь себе представить бóльший идиотизм говорить такое человеку, решившемуся покончить с собой?

— Дальше?

— Представь себе — подействовало. У него отец дегенерат, судья, кстати. Думаю, что по сегодняшний день он лупит его ремнем.

— Болит? — Нинцо дотрагивается до моего уха.

— Болит, конечно, болит.

— Хочешь, не пойдём в кино.

— Пойдем.

У филармонии большой ажиотаж: милиция, крики, шум; длинноволосые авлабарские музыканты, студенты политехнического, тещи руководящих работников. Круглое здание филармонии похоже на банку мацони, забытую на даче, ее уже облепили муравьи и тараканы, внутри усердно трудятся бактерии, поднимая уже прокисшую закваску, музыкальную закваску, культурную закваску, грузинскую закваску... Неужели не надоел им этот авлабарский джаз! Тю-тю, шампанское! И Бадура я давно не видел. Козел, этот Паата!

У тех, кто стремится попасть на концерт, есть одно преимущество передо мной — цель. Я сижу рядом с Нинцо, это здорово, но цели никакой. Что главное — иметь цель или быть довольным жизнью? У меня нет будущего. Прошлое мое — пепельница. Я живу только сегодняшним днем, вернее конкретной минутой, и стараюсь выжать из этой минуты все возможное. Я наслаждаюсь лишь отдельными моментами, и мое гурманство не поднимается до уровня дегустации совокупности минут, что и есть в итоге жизнь. Жизнь не театр. В театре интересно. Там постоянно что-то происходит. Правда, в жизни тоже кое-что случается: Нинцо, вот, красивая, мы едем в кино, меня побили, но между этими явлениями нет никакой связи. У жизни нет сюжета — и это скучно.

Может, права Нинцо, когда говорит — «не желаю взрослеть, владеть своими эмоциями и ни на что не надеяться». Надежда — неплохая вещь. Ее дефицит рождает отчаяние. Удивительно, читая Генри Джеймса, я понял, что все кончилось, все окончательно-



но сформировалось и стало неизменным. Раньше чтение книг рождало во мне надежду. Душа моя была почвой, пусть скудной, но все же почвой, достаточно было извлечь из жизни или из книг семя, и у меня возникала надежда, что оно даст всходы. Сейчас же я чувствую, что почва высохла, масляные краски застыли на холсте, штукатурка на стенах растрескалась и не поддается темпере. Сколько бы красок ни было в романе Джеймса, ему не заполнить и половины высохшей фрески. Моя фреска так и останется недописанной до самой смерти.

Интересно, что сказал бы по этому поводу Бадур? Да, я очень тоскую по его категоричному тону и звучному, низкому голосу. Уверен, что и Нинцо соскучилась по нему. Бадза, Бадур, Нинцо и я... До сих пор не понимаю, как бадуровская истеричка-жена сумела разбить наш квартет. Может быть, все началось с замужества Нинцо?.. Впрочем, какое это имеет значение.

Хорошо помню тот день, когда я и Бадза впервые встретили высокого, чуть сутулого аристократичного Бадура с его тонкими чертами нервного лица и иронической улыбкой. Идиотке Нинцо, будучи в Алжире, заставила отца купить сборник пьес только потому, что на обложке его был портрет Жерара Филиппа. В течение долгих лет романтичный Жерар Филипп бессмысленно взирал на окружающих с ее книжной полки. Потом выяснилось, что в этой книге среди прочих пьес есть и «Калигула». Бадур, конечно же, не был бы Бадуром, если бы упустил из рук запрещенное в то время издание! Нинцо в течение трех дней читала и переводила нам этот странный опус. Когда она говорила по-французски, ее лицо становилось каким-то экстравагантным. Мне тогда казалось, что кожа ее еще хранит здоровый загар алжирских пляжей, а от соломенных волос веет жаром африканского солнца. Для меня Алжир Нинцо никогда не был только развалинами Карфагена, пальмами и ярко-голубым неподвижным морем. Это был Алжир черноглазых феллахов, таинственных повязок, ковров и обнаженных женских животов. Это был Алжир вернувшегося в Типасу импозантного меланхолика, который ждет похорон матери и разморенный невыносимой жарой пьет кофе с молоком в комнате с ослепительно белыми стенами.



Тогда я думал, что Нинцо влюблена в Бадура. Помню, даже удивился, что слегка ревную. Но несмотря на это, наш квартет все-таки стал фактом. Мы были этакими заносчивыми юнцами, воображавшими, что никто, кроме нас, не подозревает о существовании «Калигулы». Иногда к нам присоединялся Картозия, приезжавший на каникулы. И тогда мы вообще с цепи срывались.

Мне вспоминаются бесконечные хмельные хождения по знакомым, принужденные улыбки хозяев: «Увы, кроме одной бутылки, ничего нет...» Что ж, и это неплохо, совсем неплохо; пространные рассуждения Бадура, его болтовня, раскаяние и обвинения одновременно, сумасшедшая возбужденность, потом спор по поводу каждого слова, поступка, политики, Отара Чиладзе, Сартра... Чертов Сартр всегда, везде и во всем — в ресторане, туалете, в постели у шлюхи, в улыбке, богохульстве, блевотине, в мыслях о самоубийстве; а на следующее утро — гнусное тбилисское пиво, купленное на выцыганенные у девочек деньги, лист белой бумаги и поток сентиментальности. Мы подражали французским писателям: в вонючей хинкальной «Иверии» на засаленных столах мы писали заранее придуманные фразы, как будто этого нельзя было сделать дома, как будто мы были Сандрарами и Жакобами, а хинкальная «Иверии» — «Кафе дез артист» близ «Фоли-Бержер».

Когда опустошались все бумажники и в карманах ничего не оставалось, начиналась вынужденная интеллектуальная жизнь: возбужденные разговоры о стиле, верлибре, педерастии, версификации, женской физиологии... Все это, по обыкновению, происходило в доме у Бадура, он единственный из нас читал Папини и Авербаха. Бадур последними словами ругал мои рассказы и с пеной у рта доказывал, что Кафка — гениальный импотент. Порой, устав от болтовни, мы выползали из квартиры Бадура и обалдевшие, как удавы после зимней спячки, плелись на проспект Руставели, в кондитерскую «Франция» или «Муштаид». Однажды в Александровском саду к нам подсел старик. Как оказалось, художник Ираклий Тоидзе. В галерее неподалеку открывалась его выставка, и перед открытием, так уж получилось, он на полчаса присоединился к нам. Едва мы немного освоились друг с другом, как он, посмотрев



по сторонам, наклонился к нам и поведал тайну: «Ребята, я знал Григола Робакидзе. У него были удивительные, горящие глаза. Несколько часов ежедневно он проводил обычно в темной комнате. Оказывается, это расширяет зрачки, и глаза приобретают особенную яркость». Затем он пригласил нас на открытие выставки, поцеловал Нинцо руку и мелкими, быстрыми шажками удалился. Тогда «трансавангардисты» еще учились в Академии.

Недели через две «интеллектуальная жизнь» порядком поднадоедала нам. Истерзанных и обалдевших — сколько можно рвать рукописи, грызть авторучки, шляться по паркам и говорить, говорить, говорить о Сартре — спасала нас опять-таки Нинцо: она похищала некую сумму из портмоне своей мамы (уважаемой Баули) или бутылку с заграничным напитком из уникальной коллекции своего отца. Тогда мы заваливались в кафе «Иасамани», чтобы распить дешевую «Шушхуну», или домой... к Бадуру. Однажды, распив литровую бутылку «Курвуазье», мы написали на двери Бадуровского туалета слова Папини: «Я должен думать о своем стыде и отчаянии в абсолютном одиночестве. Чего вы хотите от меня? Когда у меня есть, что сказать — я это публикую; когда я хочу что-то отдать — отдаю. Меня тошнит от вашего любопытства, а ваши комплименты меня оскорбляют, ваш чай — отравя! Я никому ничего не должен, я в ответе лишь перед Богом, если он вообще существует». Тогда мы считали это манифестом нашего поколения.

В то время не было бесконечной болтовни о Сталине и Берия, тогда мы больше говорили о женщинах. В те редкие случаи, когда Бог расщедрился и кому-нибудь из нас удавалось что-то опубликовать, наступал золотой век: сломя голову мчались мы в Киев, в Сочи или в Иваново. «Бадур-самодур» — так представлялся Бадур северянкам.

Сейчас, оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что молодость для Бадзы закончилась перфорацией желудка и клаустрофобией, для меня — «Шахтостроем», для Бадура — женой, весьма смахивающей на гиену, для Нинцо же... впрочем, молодость каждого из нас завершилась одним дождливым, ветреным и безденежным днем в «Доме чая» с запотевшими стеклами, когда



расчувствовавшийся старик Ираклий Тоидзе говорил нам: «Под гармоники желтую грусть» — разве это не гениально, дети мои?..»

— Какие взаимоотношения у тебя с Паатой? — неожиданно спрашивает Нинцо. Мы возле Круглого сада. Струя воды из фонтана под напором ветра изменила направление и льется прямо на античную голову Рафиэла Эристави.

— Никакие.

— Недавно он опять звонил мне.

— А что, он тебе звонит?

— Регулярно, как только напьется... Не могу уже выносить его.

— Что ему нужно?

— Если спросить, беспокоится об Анке! Ребенок, видишь ли, должен расти в семье, а не у дедушки с бабушкой. И я никудышная мать, настоящая эгоистка, думающая только о своих прихотях, и мне наплевать, что ребенку требуется отец.

— Что ты ему говоришь в ответ?

— Вырастет и сама решит, требуется ей отец или нет. Он распсиховался! Разорался: ты, говорит, потому ушла от меня, что хотела шляться по улицам и проводить время. Ты, говорит, блядь и больше ничего.

— Видно, он хочет, чтобы ты вернулась.

— Этому идиоту невдомек — если хочешь, чтобы женщина вернулась, с ней надо по-другому разговаривать.

— Значит, поговори он с тобой иначе, ты бы вернулась?

— Нет. У меня не осталось никаких чувств к нему, он для меня больше не существует.

— Стало быть, это так называемое «чувство» к нему когда-то существовало?

— Не знаю. Думаю, нет.

— Если так, то во всем виновата ты, при чем здесь Паата?

— Ну, конечно, во всем виновата я, но я не хочу, чтобы он мне звонил и обзывал блядью!

— А тебе не наплевать? Пусть говорит, что хочет.

— Разумеется, это ведь очень приятно слушать мат-перемат.

— В конце-то концов, что в этом особенного? Стыд



и позор женщине, если она хоть на малость не шлюшка. Со своей честью обычно носятся женщины, которым больше нечем гордиться. Именно они осложняют и отравляют жизнь.

— Шут гороховый.

Машина останавливается. Мы около «Казбеги». Молодые бездельники торчат у входа, освещенного желтым светом. Нинцо молчит.

— Ладно, завтра же пойду и набью морду твоему мужу-ублюдку. Довольна?

— Ты вообще кого-нибудь любишь на этом свете?

— Чего ты хочешь от меня, Нинцо, видишь же — мне плохо.

— А почему тебе должно быть хорошо? Что ты сделал для этого?

Снаружи ветер и холод. В этой идиотской минуте нет ничего замечательного, чтобы сунуть ее в рот и сосать, как мятную карамель. Действительно, почему мне должно быть хорошо? Кто это может знать? Может, ты, Нинцо, знаешь, но не говоришь. Мне кажется, достаточно будет одного слова. Вера — где-то поблизости, и потому особенно горька, как брошенный у решетки кусок хлеба, до которого узнику никогда не дотянуться.

Стоим у афиши.

— Войдем? — спрашивает Нинцо.

— Не могу смотреть на это шведское мудрствование. А что идет во втором зале?

— Ты чувствуешь, как постепенно тупеешь?

— Чувствую, не чувствую — это ничего не меняет. Но снобистский фильм смотреть не буду, даже если меня приговорят к этому.

Идем в другой зал, там — «Великолепная семерка».

— Прекрасно!

— На-на-нана-нана... — поет Нинцо и смеется.

— Что тебя так рассмешило?

— Кальвера — копия Гургена Аршакуни. Ты не замечал?

Действительно похож. У кассы всего четверо. Становимся в очередь.

— Что нам делать целый час? — спрашиваю я.



— Выпьем кофе. Сеанс начнется только в десять — ужас какой-то.

— Никакого желания ждать целый час, чтобы потом лицезреть физиономию Аршакуни.

— Ничего, потерпишь.

Нинцо незаметно кладет мне в карман деньги. Чтобы скрыть неловкость, говорю:

— Зря мы ругаем геополитику.

— При чем здесь это? — Нинцо с удивлением смотрит на меня.

— А вот не будь Гурген Аршакуни твоим соседом, вы ведь не дружили бы?

— И вообще, — подхватывает Нинцо, — не живи грузины и армяне бок о бок, не были бы они братьями, ведь так?

— Братьями? Да мы давно превратились в двух старых дев-сестриц, которые постоянно грызутся, но жить друг без друга не могут.

— Передай деньги.

Идем к машине. Сопляки-бездельники даже не смотрят в нашу сторону. Тем лучше. Драться с ними — опасная затея. Они не ограничатся кулаками, как та деревенщина, — карманы у них набиты металлом, зато головы — пусты. Ну чем не гениальный аттракцион — «Человек с пустой головой! Желаящие за пять копеек могут вскрыть черепную коробку и плюнуть вовнутрь».

Во «Франции» — только мы да еще две девушки. Явно из студгородка. Нинцо у прилавка покупает пирожные. Джемпер накинут на плечи, рукава узлом завязаны на груди. Прозрачное из тонкой ткани коротенькое платьице и толстый, грубой вязки джемпер — эффектный контраст! Интересно, что бы сказал по этому поводу старый педераст австриец? Наверное, что у меня комплекс кастрата, или что-нибудь в этом роде. Мешок с дерьмом!

— Тебе кофе или какао? — кричит мне Нинцо.

— Какао!

...С будущим мужем Нинцо меня познакомил Картозия. Стояли первые дни Нового года. Было холодно. Я бесцельно бродил по университетскому саду. В кармане — ни копейки, во рту — омерзительное ощущение



ние, будто кто-то помочился туда накануне. Вечером я был приглашен к Нинцо, но как дожить до вечера. Именно в это время Бог послал мне прибывшего на каникулы из Германии Картозия со стипендией в сто двадцать рублей в кармане. С ним был какой-то тип. «Познакомься — это мой одноклассник Паата», — сказал он. Умный и чуткий Картозия по моему лицу немедленно понял, что надо делать (заглядывать мне в карман не имело смысла, все было ясно и так).

Тогда еще существовало кафе «Метро», а площадь идиотской республики или идиотская площадь республики пока еще рисовалась только в воображении Каландаришвили. В этом самом кафе «Метро» всегда имелись отвратительная «Шушхуна», дорогие коньяки и лучший в мире жареный фарш с яйцом. Правда, Джун-а-экстрасенс уже не работала здесь, но ее аура продолжала витать между колченогими столами. Если бы кафе «Метро» не разрушили, я с удовольствием переименовал бы его в «Ауру Джуны». Разве это не прекрасно — кафе «Аура Джуны»!

Картозия явно пожалел меня и с подлинно грузинской щедростью, по которой он так соскучился в Германии, заказал коньяк вместо традиционной «Шушхуны». За окном стояла бесснежная сырая погода. В такие дни Тбилиси не похож на себя. Я слушал берлинские сплетни, и мне казалось, я не в Тбилиси, не в Грузии и даже не в Советском Союзе. По правде говоря, я не был даже уверен, есть ли на белом свете что-нибудь, кроме кафе «Метро» и окружающей его туманной атмосферы. Когда мы раздавили вторую бутылку, немой Паата вдруг подал голос и объявил, что пить больше не будет. Мы заказали еще. Картозия со слезами на глазах объяснял мне, что такое ностальгия. Ему не хватало слов, и он то и дело переходил на немецкий. Приканчивая третью бутылку, мы заметили двух девушек за самым дальним столом. Картозия немедленно послал к ним Паату с приглашением. К моему удивлению, они легко согласились присоединиться к нам. Оказались удивительно теплые и тихие шлюшки. Возбужденный Картозия, переполняемый добротой и галантностью, велел принести в их честь еще одну бутылку коньяка. Я был уже в таком состоянии, что казался себе аквариумной рыбкой, а окружающие — зеваками, при-



шедшими поглазеть на меня. Контакт с девицами осуществлял главным образом Паата, так как мне и Картозия было не до них: каждые шесть-семь минут мы вставали, обнимались и целовались. В миг просветления сознания я прочел на лице одной из девиц изумление. Очевидно, она приняла нас за педерастов. Затем на короткое время все опять покрылось мраком. Очнувшись, я увидел, что опять сижу за столом, смотрю на полупустую пятую бутылку, а на плече у меня лежит рука одной из девиц. Она просила меня больше не пить. Бессмысленно улыбнувшись ей, я спросил, где Картозия. Она отпрянула от меня, как ужаленная змеей.

Голос Картозия доносился откуда-то сзади. Я обернулся. Тот стоял у стола, за которым сидели усатые мужики, судя по всему — курды, и произносил тост. Пьяный Картозия почему-то вообразил, что он немец и ему нужно просить здесь убежища. Менторским тоном вещал он, что мы, т. е. немцы и курды, должны проявить ласку и уважение к той маленькой, но щедрой нации, которая, как родная мать, приютила и приголубила нас. Поскольку, как говорит его ирландский друг Джеймс Джойс, «ни одна из традиций нашей страны не является столь благородной, достойной, чтобы ее берегли и лелеяли, как традиция гостеприимства. Она сохранилась по сей день только у нас. Кто-то может сказать, что традиция эта скорее наш недостаток, нежели достоинство. Пусть так! Но, на мой взгляд, это истинно царский недостаток, и я надеюсь, он еще долго будет неисправимым пороком нашего народа». Курды понуро слушали весь этот словесный понос, в их древних печальных глазах я даже заметил слезы. Вошедший в раж Картозия взобрался на стул и в качестве иллюстрации к вышесказанному почему-то продекламировал такие стихи:

О, Грузия!  
Я мать тебе, а также и  
отец,  
Молю тебя, восстань из пепла —  
Как Грузия времен былых,  
А если ты не в состоянии  
расцвести,  
Исчезни с глаз моих!



Сквозь густой папиросный дым я заметил, как две наши шлюшки встали и направились к выходу, за ними неслышно последовал Паата — казалось, все это происходило далеко-далеко.

Не помню, как мы оказались на улице. Промозглый холод напомнил о тепленьких шлюхах, и мы решили отправиться в аэропорт. Повинуясь безошибочному географическому инстинкту, мы поплелись в сторону улицы Леселидзе. По дороге я зацепился за что-то ногой и непременно растянулся бы на земле, не приди мой лоб в соприкосновение с мокрым стволом платана. Картозия поет: «Эз вар зо шён гевезен», потом объявляет: «Ты знаешь, куда мы идем сейчас? Мы идем к Хильде, к моей любимой старой танте Хильде, которая обучила меня немецкому».

Наиболее отчетливо мне запомнились громоздкий темный буфет и голубые, чуть мутноватые от старости глаза танте Хильды... «Гутен таг, фрау Хильда!», бесконечный диалог на швабском диалекте, или что-то в этом роде. Затем вновь по-грузински: «Моя дорогая, одинокая, моя одинокая и дорогая танте Хильда. Я решил жениться. Вот так!» Указательный палец Картозия явно направлен в мою сторону. Танте открывает рот в изумлении, и я вижу ее сломанный протез. Хочу воспользоваться неловкой паузой и оправдаться, но тщетно. «Я женюсь на добропорядочной, благословенной грузинской девушке, и никакой Мефистофель не заставит меня пойти под венец с Гретхен. Ферштеен, либен танте?» В полузабытьи до меня доносится имя Тинико. Откинувшись на высокую спинку дивана, я засыпаю. Болван ты, Картозия! Сквозь сон прорываются жуткие аккорды и истошные вопли: «Линкс ум, рехтс ум...»

Когда мы вышли от танте, было уже темно. Приблизительно половина седьмого. Мы дрыхли не менее двух часов. Картозия, сконфуженный и молчаливый, вышагивал рядом со мной, можно подумать, никто, кроме него, не засыпал за инструментом. Было ясно, что этой ночью нам уже не заснуть. У меня оказалось десять копеек, у Картозия — рубль. Вдруг я вспомнил, что вечером приглашен к Нинцо. Картозия поломался для виду, а потом согласился пойти со мной. Решили дойти сперва до «Дома чая», выпить по чашечке и принять человеческий облик.



В «Доме чая» столкнулись с Паатой. Разыскивая нас, он обегал весь Тбилиси. Засранец! Волновался, говорит, как бы милиция не потащила вас в вытрезвитель. Кто, шлюхи? Взял у них номер телефона, посадил в такси, потом бросился к вам, но вас и след простыл. Я должен позвонить им завтра, сегодня у них репетиция... Мы почти насильно втискиваем его в машину и едем к Нинцо.

Баули и Тенгиз, родители Нинцо, встретили нас торжественно. Поинтересовались новостями из Германии. Паата был хорошо одет и, естественно, произвел впечатление. Каргозия усадили рядом с Тинико. Весь вечер он не издал ни звука, вел себя как невинная овечка. Нинцо бросала взгляды то на меня, то на Паату. Лучше бы мне сломать ногу в тот вечер и не притаскивать к Нинцо Паату. Этот педик сунул мне в карман телефон девиц, сам же заарканил Нинцо. Впрочем, это случилось два месяца спустя, тогда же я считал его человеком...

Напрасно я взял какао. Безвкусное. Нинцо с явным удовольствием пьет кофе.

— Что молчишь? — спрашиваю у Нинцо.

— Мне нужно позвонить, узнать, заснула ли Анка.

— Да спит, наверное. «Для нее еще не шелестит печальный блюз дождей осенних». Чему новому выучилась?

— Своего деда называет «папа»...

— Всегда?

— Нет, только тогда, когда вокруг другие дети.

— Странный ребенок. Хотел бы я знать, какие мысли роятся в ее маленькой головке?

— Я думаю, она обыкновенный ребенок. Иной раз, правда, молчит целый день, вот и все странности. Об обидах и неприятностях моментально забывает. Пока все в порядке, что будет дальше — не знаю.

— О завтрашнем дне подумаем завтра... Ну зачем, зачем ты вышла за Паату...

— Спасибо. Это ты мне сейчас говоришь?

— Я думал, что тебе хватит своего ума.

— А разве у женщин есть ум? Хочешь скажу, почему я вышла замуж? Тебе назло... Вернее, назло тебе, Бадзе и Бадуру! — Нинцо допивает кофе и всматривается в чашку.



— Гениальное средство для мести.

— Да, я идиотка, но вы-то, мужчины, вы чем лучше? После того ужасного дня вы вообще пропали, я возненавидела собственный день рождения. Все разнесли, с отцом разругались, хлопнули дверью и поминай как звали. Прекрасный выход из положения! Кто-нибудь из вас подумал обо мне? Кто-нибудь подумал, что я остаюсь в этом доме, с этими людьми, потому что они — мои родители, судьба дала мне именно таких родителей. Или вы думали, я, как Павлик Морозов, отрекись от родного отца?

— Не думал, что это так задело тебя. Лучше бы тебе сказать все это тогда же.

— А что я должна была сказать? Сперва мне стыдно было вспоминать случившееся, потом я злилась, что вы не появлялись, по телефону не поговорить — Баули подслушивала. А потом появился Паата... В самый раз — еще немного, и я спятила бы от постоянной слезки и контроля! Я ведь его толком и не знала, но тогда мне казалось, я глотнула чистый воздух после душевной камеры. Я действительно хотела выйти за него замуж, и это правда.

— Возможно, я и ошибался, но появись я тогда, было бы еще хуже. Ты же знаешь характер своего отца.

— Хуже, чем сейчас?

Нинцо смотрит в чашку. Девочки из студгородка выходят. Продавщицы снимают халаты, поминутно поглядывают на нас. Сейчас нас выгонят. Нинцо поднимает голову и говорит:

— В тебе есть нечто подобное благородству, когда ты лезешь в драку, зная, что будешь бит. Но, к сожалению, это проявляется только на улице.

— Ничего не поделаешь, очевидно, мне не хватает благородства поступать так же в набитых хрусталем интерьерах.

— Я совсем другое хотела сказать.

— Что же?

— Мне кажется, мысли мужчины не могут быть заняты только самим собой, заботой только о собственном достоинстве и нудежем о безденежье.

— Я одно знаю наверняка — если мы сейчас не встанем и не уйдем, нам придется защищать свое дос-



тоинство от разъяренных уборщиц, которые торопятся домой.

Мы идем к выходу. В дверях Нинцо поворачивается и говорит:

— Извини, у меня и в мыслях не было распускать нюни.

У «Казбеги» — толпа. Преимущественно ученики девярых-десярых классов.

— Представляешь, их еще на свете не было, когда мы впервые посмотрели «Семерку», — говорит Нинцо.

— Не думаю о таких вещах. Какое имеет значение, были они на свете или нет? Я понятия не имею, когда «Семерка» вышла на экраны. И не хочу иметь. Время не существует.

— Что же тогда существует?

— Смерть... Впрочем, может быть, и ее нет.

— Удивительно свежая мысль! В Евангелии прямо сказано.

— При чем здесь Евангелие?! Люди умирают друг для друга, а не для себя, т. е. у кого-то кто-то умирает, вот и все.

— Этот афоризм надо записать, хотя я так и не поняла его.

— У тебя мозги гусыни.

Она берет меня под руку, и я следую за ней в полупустой зал. Меня тревожит вопрос: почему мы с Нинцо столько философствуем? Неужели у нас нет других тем для разговора? А если есть, кто установил эти т. н. запретные темы в наших беседах, кто выхолостил нашу речь и превратил когда-то искренние, проникнутые истинным чувством слова в пустые и беспредметные побрякушки?

Неожиданно гаснет свет и в кромешной темноте возникает мексиканское село, к которому приближается банда Гургена Аршакуни... Может, я и впрямь умер, и моя душа скоро пристанет к другому берегу вонючей речушки? Может, этот зал и есть другой берег, а наш разговор всего лишь бессмысленное и бесконечное бормотание Ахерона? Скорее всего так и есть, поскольку в воспоминаниях еще живо время, когда слова имели смысл, ветры — ароматы, вина — вкус, а тела — привлекательность, более того, тогда я считал вполне возможной нашу совместную жизнь... мою и Нинцо.



Помню, эта мысль впервые возникла у меня в тот облачный, ветреный и безденежный день, когда я и Нинцо сидели в «Доме чая» и сквозь запотевшие стекла высматривали Бадзу и Бадура. За нашим столом сидел старый Ираклий Тоидзе, пил горячий чай и рассказывал нам о Есенине. А вокруг нас что-то творилось... Необычная суета возле столов, встревоженные лица, обрывки фраз: «...дороги перекрыты... мертвых везут в закрытых машинах из аэропорта... в Поничала стреляют... Глупости, при чем здесь Поничала?.. Самолет расстреливают снаружи...» Ираклий Тоидзе очень далек от этих событий, он видит сейчас гостиницу «Англетер» и красивую белокурую голову в петле.

— Он понял, дети мои, что находится в тупике, и иного выхода для себя не видел.

— Батоно Ираклий, вы ничего не слышали?

— Нет, а что я должен был слышать?

— Да так, ничего...

— А-а, вы о попытке угона самолета?

— Да.

— Ужас... Столько людей, стрельба... Зверство.

— Не знаете, кто пытался угнать?

— Нет, сегодня утром мне рассказал об этом сосед. Он тоже ничего толком не знал. Ужас, ужас.

Маленькими глотками он допивает чай и надевает берет.

— Уходите?

Внезапно он склоняется надо мной и тихо говорит:

— И кто же в этом виноват? Кто?!

Деревья на улице сгибаются под порывом ветра, сухие листья бьются о запотевшие стекла «Дома чая». Ираклий Тоидзе застегивает дождевик. Прощаемся без слов.

Мы с Нинцо остаемся одни. Мне хочется вернуться к своей потаенной сладостной мысли, но чувствую, что сейчас это невозможно... «Варварство, варварство!» Словно что-то сдвинулось с места, непредвиденное, тяжелое, как трамвай. А мои нервы — рельсы, рельсы! Случилось что-то непоправимое. Что? С соседнего стола нам машет рукой Кики.

— Пересядем? — спрашивает Нинцо. Я пожимаю плечами. Входят Бадза, Бадур и «Чорна». Направляются прямо в нашу сторону. Лица у них напряженные.



Высокий светловолосый и голубоглазый «Чорна» немно-  
го старше нас. Он всегда хорошо владеет собой и сво-  
боден от всяких жизненных иллюзий. Ясно, они уже в  
курсе новостей. «Чорне» известны и имена угонщиков.

— Все это вранье, наверно, я знаю их немного —  
вполне обычные ребята, — говорит Нинцо. «Чорна», не  
обращая на нее внимания, продолжает рассказывать.

Мы поминутно прерываем его.

Да, но куда они собирались? В Израиль? Финлян-  
дию? Америку?.. Куда? Ах, в Америку! В большую на-  
ивную Америку, которая, подобно благодушной потас-  
кухе, готова предложить свою теплую постель перво-  
му встречному! Что они собирались делать там, в этой  
Америке, похожей на трогательного вундеркинда? Раз-  
ве поймешь? Тут Бадур вспоминает, что Кики дружна  
кое с кем из них... Кики! Кики!!!

Кики подходит к нам. Волосы как всегда растрепан-  
ны, на плечах — древняя залатанная шаль, которую  
Нинцо назвала «кашемировым кошмаром». Кики, разу-  
меется, ничего не знает, несмотря на то, что весь вче-  
рашний день провела вместе с ними. Почему? Да ведь  
свадьбу играли! Нет, Кики не ошибается, была насто-  
ящая свадьба и, между прочим... Что «между прочим»?  
Между прочим, ничего подобного они не собирались де-  
лать! Наверное, просто оказались в самолете, который  
хотели угнать какие-то террористы... Bravo, Кики!

Двое мужчин среднего возраста подзывают к себе  
«Чорну». Один низкого роста с бородой, второй —  
верзила, с ранней сединой в волосах.

— Я пошел, — говорит «Чорна». — Не пропадайте,  
на днях, возможно, вы мне понадобится.

Бадза и Бадур согласно кивают головой.

— Нет, мне все-таки не верится, — говорит Кики.  
Никто не пытается ее переубедить.

Проходит час, возможно, больше. Какие-то люди  
входят и выходят из «Дома чая». Небольшие компа-  
нии вокруг столов то распадаются, то вновь собирают-  
ся. Узнаем последние новости — ненадежные, взаимо-  
исключающие. Но несмотря на это, кровавая панорама  
вчерашней ночи обрастает новыми ужасными деталями.  
Смотрю на Бадзу, он — олицетворение олимпийского  
спокойствия. Одно только — спокойная улыбка Гаута-  
мы уже не красит его лица...



Вдруг совершенно отчетливо осознаю, что все изменилось и никогда уже не будет таким, каким было. Все летит в тартарары, и очень скоро преисподняя поглотит Папини, кафе «Метро», «Шушхуну», нашу писанину, улицу Леселидзе, танте Хильду...

После полудня выясняется, что утром, часам к шести, стрельба прекратилась. Пятерых арестовали. Один из них был тяжело ранен. Когда его в полуобморочном состоянии тащили по коридору аэропорта, какой-то хорошо одетый мужчина накинулся на него с матерщиной, раненый плюнул ему в лицо кровью и остатками зубов...

Чувствую, дольше оставаться в «Доме чая» нет смысла.

— Оружие, оружие... все из-за оружия, — не совсем вразумительно говорит мне Бадза.

— Хоть убейте, а я все-таки не верю, — в десятый раз говорит Кики и испуганными глазами смотрит на меня. Я не отвечаю ей.

— Бадур, ты веришь?

— Кики, заткнись! — грубо обрывает ее Бадур.

Кики начинает плакать.

— Почему они сгубили себя, объясните, почему?!

Нинцо кладет ей руку на плечо, пытается утешить.

— Я ж была на свадьбе... они все были такие красивые... смеялись... едем, говорят, к морю... что происходит, скажите мне?.. Я тоже собиралась с ними, но мама заболела... я ничего не знала... Значит и меня...

— Не бойся, тебя не арестуют!

Кики резко сбрасывает руку Нинцо и визжит:

— Что происходит, скажите? Ты можешь мне сказать, что происходит? Да это же дурдом какой-то! А? Мы что, все психи?!

Горячий чай проливается на стол.

— Бадза, что же будет? Всех убьют? Скажи, всех убьют?

— Завтра у Нинцо день рождения, — вдруг объявляет Бадза.

Все, что случилось потом, было продолжением этого ветреного дня...

На экране — маленький американский городишко. Приехавшие в Техас (почему не в «Тексас»?) мексиканские крестьяне, разинув рты, глазают на американских



парней, вернувшийся с кладбища катафалк с трупом индейца и стоящих перед «Saloon»-ом богатых коммивояжеров. Внезапно все тонет во мраке. На какую-то секунду в зале воцаряется тишина, которая взрывается свистом.

— Свет потух, — говорит Нинцо.

— Я так и знал.

— Что ты знал?

— Когда мне что-нибудь захочется, именно тогда все проваливается к чертовой матери.

— Бедный мальчик... — говорит Нинцо и гладит меня рукой по голове.

Упершись коленями в спинку переднего кресла, кладу голову на плечо Нинцо. Моего лица касаются ее прекрасные шелковистые волосы. Вокруг темно — хоть глаз коли. Уже не свистят. Голоса звучат очень тихо, будто доносятся откуда-то издалека. Хорошо... О чем же ты думаешь, Нинцо, когда сидишь вот так в темноте и твое худенькое плечо безропотно сносит тяжесть моей пустой головы. Одно я чувствую — неустанное биеение маленькой жилки у тебя на шее, и эта постоянная пульсация выдает хорошо замаскированную, скрытую надежду, так же как и уставшие от вязания твои длинные пальцы... Этот миг кромешного мрака до невозможности прекрасен, хотя оставляет нещадную горечь на моих потрескавшихся, сухих губах. Ни одна капля тьмы вокруг нас мне не принадлежит... Я владею лишь сумасшедшими мыслями, не связанными друг с другом словами. Что мне с тобой делать, Нинцо? Как облечь тебя в слово? Ведь если я что-нибудь захочу, почему-то именно тогда все проваливается к чертям. Все, что сейчас происходит, продолжение того ветреного дня...

День твоего рождения закончился скандалом потому, что был продолжением уродливой ситуации, возникшей в «Доме чая». Я это понял сразу, когда, переступив с букетом цветов в руках порог твоего дома, увидел устроившегося в кресле Паату.

— Не знал, что вы так подружились.

— Приходит и сидит вот так, не знает, о чем со мной говорить.

— Почему ты не прогонишь?

— А он ничего такого не делает, — со значением говорит Нинцо.



— Стало быть, он так и будет сюда таскаться?

— Когда-нибудь ему надоест. Ну, пошли и сядем наконец за стол...

Из кухни выпорхнула раскрасневшаяся Баули

— Где ты, сынок, до сих пор, остыло все.

Когда-то Баули, наверное, считалась красивой женщиной. О чем еще мог мечтать Тенгиз? Поразительно, но Нинцо — их дочь! Видимо, что-то в этих людях было мертво, и это «что-то» воскресло в Нинцо. Может быть, толчком к этому воскрешению послужили античные развалины и Средиземное море? Может, действительно есть в Средиземноморье свой неповторимый солнечный трагизм, не похожий на трагизм ни одной туманной страны. По вечерам, когда на дремлющую набережную тихо спускается ночь, из глубины смолкнувших вод вверх, к небосводу, невидимым облаком устремляется потрясающее совершенство бытия. Безупречная красота и безучастие — вот причина трагического мироощущения античного мира, отчаяние, рожденное в греческой душе, берет начало в мучительной, подавляющей красоте. Вроде не так уж и далеки мы от тех таинственных вод, вроде когда-то и Черное море было частью Средиземноморья. Что же происходит? Почему земля наша рождает свое отчаяние в уродстве и конвульсиях? Видимо, действительно произошла катастрофа. Мы бесконечно далеки от трагической души. Может, когда-нибудь нам суждено «возвращение в Типасу»? Кто знает, Нинцо?

Скверное вышло застолье. Я категорически отказался быть тамадой, Бадур был на диете, Картозия — с похмелья, а вечному молчальнику Бадзе даже не предложили руководить столом. Тамадой провозгласили Паату. Хорошо помню, прежде чем выпить за здоровье родителей, он спросил:

— Нинцо, папы нет?

Не «твой отец», а «папа» — так и сказал!

— Его вызвали вчера ночью и до утра он был в аэропорту... Оттуда прямиком отправился на работу. Он очень устал за эти дни. Сейчас прилег и отдыхает.

Уже в конце застолья, приблизительно часам к двенадцати, уважаемый Тенгиз предстал перед нами в коротком черном халате. Угрюмо поздоровавшись, отказался от вина и вышел на кухню выпить чаю.



— «Хванчкара» хороша, но не во время кутежа, заявил Картозия.

— Предпочитаешь магазинную отраву, которую хлещешь день и ночь? — откликнулся Бадур. Мы принужденно рассмеялись. Вскоре и эта искорка веселья погасла, и все умолкли в ожидании очередного пресного тоста Пааты. Часы пробили двенадцать. И вдруг Бадза попросил слова — верный признак, что он опьянел. Трезвым, он обычно бывал скуп на слова. Его мышление и речь обретали стройность лишь в двух случаях: за письменным столом и во время пирушек (после двух бутылок). У Бадура имелся целый цикл анекдотов в ответ на высокопарные здравицы Бадзы. Мы от души смеялись над его напыщенным слогом, в душе всегда, впрочем, отдавая себе отчет, что Бадза никогда не кривит душой. В этом человеке совершенно неожиданно переплелись пафос и застенчивость. В тот вечер Бадза сказал:

— Я хочу извиниться перед Нинцо за то, что сегодняшнее наше застолье не удалось. Но я думаю, каждый из нас понимает причину нашего «незастольного» настроения... Не знаю, как вы, но я, выпивая каждый бокал, вспоминаю о тех, кто ждет сейчас смертного приговора.

Мы знаем их, пусть немного, но уверены, что они не убийцы. Бог дал им совесть и способность суждения, и тем тяжелее грех, который они взвалили на себя. Сейчас они смотрят в глаза смерти и одновременно тех, кто стал жертвой их ребяческой игры в «войну». Бог им судия, поскольку в этом мире, мне кажется, нет служителя правосудия, который мог бы вынести им справедливый приговор. Да и возможно ли это, когда обвиняемые, как и их родители, сами являются жертвами узаконенного в нашем обществе человеконенавистничества и террора, которые имеют свою многолетнюю традицию, и что удивительного в том, что вскормленный на этих традициях человек берет в руки оружие? И так будет всегда в обществе, где вместо десяти заповедей детей учат «беспощадной борьбе», а вместо сочувствия требуют «непримиримости». Так какое, спрашивается, право имеет это общество наказывать их прежде, чем вынесет себе смертный приговор?



Бадза хотел еще что-то сказать, но неожиданно мы услышали:

— Минуточку, минуточку! Вы понимаете, что говорите?!

Перед нами стоял Тенгиз, вышедший из кухни. Нахмурившись, он оглядывал нас. Черный атласный воротник его теплого халата поблескивал при свете люстры.

— Вы понимаете, что говорите?! — повторил он.

— Похоже, это вы не так поняли... — смешался Бадза.

— Я прекрасно все понял. Вы, значит, хотите сказать, что эти бандиты ни в чем не виновны? Прекрасные, необыкновенные ребята?! Вся вина в нас, а они — герои?! Бедняжки — как же это с ними стряслось такое?!

— Этого никто не говорил, батоно... — встрял Картозия.

— Нет, вы сказали именно это! — Тенгиз все больше и больше распалялся, мне показалось, что он намеренно взвинчивает себя. — Вы сказали именно это! Значит, любой, кому взбредет в голову, может взять ружье, убивать людей, грабить дома, насилловать женщин, переворачивать мир, и при этом, бедняжка, сам же будет жертвой, а мы все — перед ним виноватые. Интересная философия! И я знаю, откуда она идет — от семьи! Мне хорошо известна эта категория людей. Ни на что, кроме критики, они не способны. Неблагодарные свиньи, и детей растят такими же свиньями!

— Папа! — крикнула Нинцо.

Я взглянул на Картозия — на нем лица не было. Бадур, напротив, покраснел как рак. Паата выглядел испуганным. Только Бадза был внешне спокоен, и на губах его играла едва заметная спокойная улыбочка.

— А ты молчи! — рявкнул на нее Тенгиз. — Я с тобой поговорю отдельно. Я спрашиваю у вас, что вы принимаете и что отвергаете? Страну, которая одевает вас, кормит, дает образование? Между прочим, когда вы кичитесь тем, что прочитали массу книг, то в этом также заслуга вашей страны.

— Книги читают и в других странах... — снова встрял Картозия.

— Ты, сопляк, не посадивший в своей жизни ни одного дерева, не уложивший и двух кирпичей, язык



распускаешь длиной в пять метров! А окажись в том самолете твой ребенок — ты своими руками передумал бы этих поганцев, перегрыз бы им горло! Они, видите ли, не могли вынести этой жизни! А я, значит, прожил эту жизнь в неустанных трудах и заботах, и потому грош мне цена?!

— Дядя Тенгиз, ребята этого не говорили, — внезапно вмешался Паата.

— Не говорили, но подразумевали! Я думал, вы настоящие мужчины, а вы кем оказались? Нет, не понимаю, как можно сочувствовать гангстерам и убийцам? О каком сочувствии вообще может идти речь?

— А что нам делать? — подал голос Бадур.

— «Что нам делать...» — передразнил его Тенгиз. — Надо приставить к стенке этих подонков, изменников народа, и расстрелять как бешеных псов! Что делать?! Нет, не расстрелять их надо, а убивать медленной смертью, пусть почувствуют, как вонзаются в их тела раскаленные вертела, чтобы другим неповадно было!

— Папа! — закричала Нинцо.

В ту же секунду я увидел, как Картозия схватил свой бокал, — и по физиономии Тенгиза растеклось красное, как кровь, вино. Все оцепенели. Происходящее напоминало спектакль провинциального театра с бесконечными «смысловыми» паузами.

— Вон отсюда!

Мы молча встали и направились к выходу. Нинцо сидела за столом и плакала. Дура!

На улице мы долго стояли у хлебного магазина и говорили, перебивая друг друга. Затем Бадур решил нарушить свою диету и повел нас к себе распить «Цоликаури». Мы основательно надрались, когда вспомнили о Паате. Никто не мог сказать, когда он выпал из поля зрения. Вышел ли он с нами, даже этого никто не знал. Уверен, что не вышел. Разве бы он упустил такой момент! Бог дал ему гениальную возможность доказать свое рыцарство и преданность. Ведь он только и мечтал об этом. Я так и вижу его стоящим перед зеркалом, педантично, старательно укладывающим каждый волосок и ломающим голову над фразой: «Нинцо, может быть, это покажется тебе сентиментальным, но с первого же взгляда...» Нет не годится... «Ты отлично



знаешь, Нинцо, что я хочу сказать, я не буду тебя торопить, подумай и реши». Да, это более убедительно, так говорят в американских фильмах. Да пошел он.

Помню и следующий день. Всклокоченный, как побитая собака, я выполз на улицу. Было около десяти часов. Ветер гнул деревья. Ветер везде — на улице, в кармане, в душе. Стою у перехода, не знаю, куда податься. Вдруг вижу — кто-то машет мне на другой стороне улицы. Чокнутый Отхмезури. На кой мне сдался сейчас Отхмезури? Но делать нечего — перехожу. Отхмезури радостно расстегивает куртку и демонстрирует две бутылки во внутреннем кармане. Вино? «Да, вино!» Опохмеляться вином?! «Эти бляди утром водку не продают!» Но не в саду же будем пить? «Да нет же, бля, поднимемся к «Чорне», он рядом живет». «Чорна» спит еще, наверное. «Нет, я только что встретил Бадура, он шел к нему». Бадур? Что нужно Бадуру у «Чорны» в такую рань? «Не знаю, по-моему, какое-то письмо хотят составить в адрес правительства по поводу самолета. Нам-то до них никакого дела, тоже мне умники, пусть себе пишут, что хотят, мы с тобой сядем на кухне и выпьем...»

Иду за Отхмезури и думаю, почему Бадур ничего не сказал мне насчет письма? Очевидно, «Чорна» считает меня ненадежным типом, или я ему просто не по душе. Станный этот «Чорна». Может, не стоит идти?

В подъезде стоит какой-то чернявый тип. Коротко остриженные волосы, пальто из твида.

— Вы куда, ребята?

— К товарищу.

— Документы?

— А у тебя есть документы? — спрашивает Отхмезури.

Чернявый достает из внутреннего кармана какую-то книжечку и показывает нам.

— Капитан Какауридзе. А теперь покажите свои.

— Вот тебе мой документ! — говорит Отхмезури и обрушивает ему на голову бутылку «Напареули».

— Ты что, обалдел?!

— А чего он пристал, ублюдок?

Осторожно приближаюсь к распластавшемуся на каменном полу Какауридзе, пытаюсь нащупать пульс. Все его лицо залито кровью.



— Жив? — с интересом спрашивает Отхмезури.

— По-моему, да.

— Смываемся!

Мы не сделали и трех шагов, как нас схватили. Отхмезури вопил и ругался. Так страшно меня никто и никогда не отделявал. Били нас трижды: сперва в машине, затем во дворе милиции и под конец в комнате дежурного. Мы еще легко отделались — Бадуру и «Черне» шили организацию террористической группы. Что бы мы делали, если бы отец Отхмезури не был судьей. Разбитая голова Какауридзе обошлась моей матери в три тысячи...

В зале зажигается свет, тут же гаснет, и на экране — вновь Техас. Пьяный коммивояжер удивленно говорит кому-то: «Никогда не подумал бы, что надо быть чем-то еще, кроме трупа, чтобы попасть на кладбище».

Это Запад, Нинцо, дикий Запад. Но на этом диком Западе есть ребята, которые предадут земле труп кому-то неугодного человека. А в наших джунглях обитают лишь трусливые животные, и наша земля полна костей, которые тщетно ждут кладбища, или семейных склепов... Прислонившись к холодной стене камеры, оцепеневший от побоев, я отчетливо видел изрешеченный пулями остов самолета. «Пройдут годы, и я напишу обо всем этом книгу, которую начну словами Лопе де Веги и назову «Кровавая свадьба», — думал я. Это будет книга, полная боли и горького раскаяния по поводу нашей безбожной, лишенной истинных ценностей жизни; моя книга будет полна крика и нецензурных выражений, которые ни один цензор или редактор не сможет вычеркнуть, а чтобы никто не упрекнул меня: «Да что это с вами? Что это за стиль? Позерством и непристойностями хотите завоевать читателя?», я предварю повествование таким предисловием: «Дорогой читатель! Возможно, ты почувствуешь себя оскорбленным после прочтения первого же предложения, но иначе я поступить не мог. Если бы ты знал, как надоело мне разыгрывать интеллектуальный фарс перед идиотскими рожами! Как осточертели мне бесконечные реверансы и т. н. этикет, придуманные лишь с целью сокрытия правды. Я не ищу уже красивых фраз для передачи грязного содержания, поскольку писать для меня — значит жить, а в жизни сортир должен пахнуть сорти-



ром, а не духами «MAGIE NOIRE». Да простит меня Бог, если из малодушия я до сих пор поступал иначе. Если же ты разгневаешься, дорогой читатель, можешь выкинуть мою книгу на помойку или употребить по другому назначению в том месте, куда цари ходят пешком. Меня это не обидит. Я тебя целую и люблю. Автор».

Внезапно демонстрация фильма вновь прекращается, в зале зажигается свет. У входа в зал стоят какие-то люди. На одном из них милицейская форма. Рядом с ним администратор и еще какая-то женщина. Ей лет под шестьдесят. Губы сурово сжаты, крючковатый нос воинственно поднят вверх, в глазах — безумие. Милиционер что-то говорит женщине. Опытным жандармом она начинает обходить ряды, как рентгеном, пронизывая зрителей своим диким взглядом.

— Извините, товарищ, извините, я, бабушка, потеряла внучонка... Вы должны меня понять, дорогие.

— Ты видел что-нибудь подобное? — спрашивает Нинцо.

— Подожди, то ли еще будет!

Женщина приблизилась к стоящему перед нами ряду, подобно собаке-ищейке опустила голову и, сверкнув глазами, что очевидно не предвещало ничего хорошего, завопила:

— Хвича, Хвича, выходи!

Затем, повернувшись к милиционеру, крикнула:

— Ну, что я вам говорила, вот они оба!

Милиционер пошел в ее сторону.

— Хвича, внучек, отпусти ты его руку и поди сюда! Он враг тебе, враг!

Только сейчас мы увидели в самом конце ряда прижавшегося к стене седоволосого тощего мужчину, испуганной мышью вертевшего головой, и тринадцатичетырнадцатилетнего мальчика, сидевшего рядом с ним. Мы не видели их лиц, но отчетливо ощущали страшную неловкость, которую они испытывали.

— Марш из зала быстро! — рявкнул милиционер.

— Я отец в конце концов, пришел с сыном в кино, что тут такого, — пискнул мужчина.

— Какой ты отец, пьянь несчастная! Алкоголик и развратник! Оставь ребенка, видишь, вот, участковый, в тюрьме тебя сгною, знай! Хвича, поди сюда!

Отец с сыном встали. Хвича был на две головы вы-



ше отца, да и одежду носил, очевидно, на два размера больше.

— Ах ты, подлец! — не унималась женщина. — В отца ему захотелось поиграть! Мальчик подрос, и ты вспомнил о нем, да?!

Участковый схватил за руку оробевшего мужчину, женщина — готового расплакаться Хвичу, и процессия направилась к выходу. Растерявшийся администратор широко распахнул перед ними двери.

— Извините, уважаемые, я — бабушка, и вы должны меня понять! — повторяла женщина до тех пор, пока в зале вновь не погас свет и на экране не появилось мексиканское село.

— Что происходит? — спрашивает Нинцо.

— Ничего особенного: народ живет жизнью, которую заслуживает!

На экране жуткая перестрелка и горы трупов.

— Все, не могу больше, я сыта по горло! — внезапно произносит Нинцо. Я больше не смотрю на экран. Нинцо закрывает ладонями лицо. Плачет? Надеюсь, нет. Силой отрываю ее руки от лица. В уголке глаза поблескивает слеза, одна малюсенькая слезинка, больше ничего.

— Что с тобой?

— Ничего.

— А все-таки?

— Давай уйдем.

— Пошли.

Встаем. Пораженный рейгановской пулей Брит не успеваает метнуть нож. Мы выходим из зала. В пустом вестибюле нас встречает украшенный цветами белый бюст Александра Казбеги. Стулья вдоль стены пусты. Такое впечатление, будто близкие усопшего, устав от панихиды, ненадолго вышли на кухню. «Славный юбилей великого грузинского писателя» — сообщает нам транспарант. Нинцо ничего этого не замечает. Садится на стул.

— Нинцо, ты спятила?

— Не знаю, что-то на меня нашло... Скажи, кто устроил эту жизнь так погано? В этом городе хоть целый день ходи — живого человека не встретишь. Тбилиси — пустыня, страшная, безжизненная пустыня! Кто в этом виноват? Кто этот мир так устроил?



— Если верить умному человеку, у этого творения нет создателя.

— А мы? Кто же мы? Я вот родила ребенка — большое достижение! Но этот ребенок вырастет и спросит меня, что ты сделала для того, чтобы я жила нормально? Что ей ответить? Что сказать? За всю свою жизнь я только раз заснула спокойно с сознанием того, что совершила поступок — четырнадцатого апреля семьдесят восьмого года. Всего раз. Больше ничего подобного я не помню. Мне все надоело, вокруг грязь, кровь... Для чего я родила Анку? Скажи, есть ли в этом какой-либо смысл?

— Молчу.

— Почему?

— Моя дорогая, не пожелай Калигула уничтожить надежду, ему простили бы все его зверства. Но покушение на надежду ему не простили и изрубили мечами. Не хочу разделить его участь, но мне кажется, что...

Нинцо с явным интересом смотрит на меня снизу вверх.

— Что тебе кажется?

— Я думаю, что эта твоя философско-историческая истерика вызвана совершенно иной причиной... Личной... И очень хорошо, если это так! Ну как можно мудрствовать, когда у тебя такие красивые волосы? Прелестная особа, вроде тебя, должна любить нечто совсем другое.

Вижу, она улыбается. Слава Богу! Улыбается, но глаза печальны, очень печальны. Что же с тобой, Нинцо? Пустота? Дни, согреваемые только Анкой? Вранье! Ты вылеплена не из той глины, чтобы повзрослеть, владеть собой и не иметь никаких надежд! Все это временное, пройдет, как насморк. Уже прошло, по глазам вижу.

Открываются двери, и из зала выходят симпатичные молокососы. Я говорю «молокососы», зная, впрочем, что они в тысячу раз лучше меня, в десять тысяч раз! Это поколение юношей, мужающих в свое время, как то было испокон веку, когда люди жили нормальной жизнью. У них мертвы гены страха. Ну и что, что у многих в карманах ножи? Еще больше ходят без них и не знают страха. Их глаза привыкли к блеску стали. Завтра они так же спокойно взглянут на примкнутые к



ружьё штыки, и их оглушительный хохот разоружит легионы подонков. Я бы аршинными буквами написал одиннадцатую заповедь и припечатал бы ее к носу человечества — «Не бойся!!!»

— Кончилось кино! — говорит Нинцо, встает и берет меня под руку. На улице так холодно, что толпа зрителей мгновенно расходится. Ветер гонит тучи, на почерневшем небосклоне, где-то в глубине бездонного мрака холодно поблескивают осколки льда.

В машине уютно, запах апельсина и пустая бутылка из-под «Радебергера».

— Тепло, апельсин и пиво — вполне достаточно для счастья, не правда ли? — спрашиваю я.

Нинцо трогает машину и мчит по улице Барнова.

— Что это на меня нашло, а? Совсем одебилилась.

— Это потому, что тебе не хватает тепла, апельсинов и пива.

Мы около девятой больницы. Рейд. Легавые остановили такую массу машин, что им не до нас. Пропускают. За темными окнами больницы спят больные. А некоторым, возможно, и не до сна.

— Не люблю пиво, — говорит Нинцо, — но знаю, что жизнь прекрасна. Бог справедлив, и мир имеет какой-то скрытый для нас смысл и предназначение. Но порой мне кажется, что, кроме меня, никто этого не понимает.

— И тогда на твою сияющую солнцем душу набегает облачко сомнения. О, несравненная моя!

— Нет, дело не в сомнении... Просто иногда хочется видеть подле себя человека, который согласится со мной.

— Люди никогда не меняют своих взглядов, и если соглашаются друг с другом, то это происходит или из меркантильных соображений, или из-за слепой любви, королева!

— А ты? Ты тоже такой?

— Я всегда против всего, потому что мне противны меркантильные расчеты, сладость души моей.

— А... любовь?

— О, как много ласки твои лучше вина!

— Перестань кривляться, отвечай!

— Красива ты, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.



— Я тебя серьезно спрашиваю...

— Любить кого-нибудь — это быть согласным с кем-то вместе состариться. «Старой Друзилле же, Ваше святейшество, я во сто раз более предпочитаю мертвую Друзиллу». Я не вынесу морщин и высохших рук, поскольку глаза твои — озерки Есевонские, губы твои, как алая лента, а чрево твое — ворох пшеницы, оставленный лилиями.

— Смейся, смейся, тебе же на все наплевать!

Мы у зимнего плавательного бассейна. Каждый раз при виде этого здания я хочу есть, потому что зимний бассейн напоминает мне кусок холодной вареной осетрины. Содержание его не так привлекательно, как внешний вид. Впрочем, должен сказать, что содержание того или иного строения определяют только люди, и при чем тут бассейн, если горожанам еще не опротивело плавать в коллективной моче. А, черт с ними!

— Нинцо, куда мы едем?

— Представления не имею.

— Замечательное направление!

— Есть в тебе хоть капля любви?

— К кому?

— Любви... вообще.

— «Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем та, которой погибаю вот уже много дней»... Между прочим, это касается не только любви.

Нинцо внезапно резко поворачивает руль, пересекает двойную линию и останавливает машину у подъема на Черепашье озеро.

— Ты нигилист?

— Нинцо, ты же знаешь, я эгоист... и еще артист, впрочем, это одно и то же.

— Значит, на свете нет и не было человека, с которым ты бы хотел состариться?

— Нет.

— Значит, ты никогда не любил?

— Что за дебилизм! Ты думаешь — это одно и то же?

— Разве пять минут назад ты не это мне втолковывал?



— Значит, любовью я называю что-то совсем дру-  
гое.

— Что?

— «Если я это знаю, то пусть волей богов и бо-  
гинь...»

— Не надо прятаться за чужие слова!

— Это еще почему? Слова и авторитеты именно  
для этого и существуют. «Смертью, которой погибаю  
вот уже много дней...» — прекрасно сказано.

— Страшные слова...

— Зато отлично передают то, что я хочу сказать.

— Ты не это хочешь сказать! Ты не Тиберий.

— Тогда кто же я?

— Пресыщенный тбилисский сноб.

— И ты не святая, однако то и дело цитируешь  
Евангелие. Разве не так?

— Допустим.

— Чего же ты хочешь от меня?

— От тебя?.. — Нинцо поворачивается ко мне и  
очень по-деловому спрашивает: — Ты можешь поце-  
ловать меня?

Склоняюсь к ней и целую ее в шею, возле уха. От  
кожи Нинцо исходит аромат дикого миндаля. Губами  
чувствую, как пульсирует напряженная чуть более обыч-  
ного маленькая жилка. Голова ее слегка откинута, гла-  
за закрыты — ей видится другая сторона темного неба,  
в котором порхают большие голуби и метят своим гуа-  
но унылый город, леса после дождя, безлюдные поля...  
а их гуано — оливки.

Я закуриваю. Нинцо открывает глаза.

— Поехали?

— Думаю, да.

Еще один день кончен. Я придушил его без шума,  
с хладнокровием профессионального убийцы. Это было  
поистине национальное, чисто грузинское убийство —  
без «магических театров» и Моцарта. С миром радо-  
сти меня связывает лишь пустая бутылка из-под  
«Радебергера». Ну, а завтрашний день вместо меня  
прикончит «Тбилглавшахтострой».

Нинцо смотрит вперед на дорогу. А я смотрю на  
ее острые, почти детские коленки, которые смешно дви-  
гаются, когда она нажимает на педали, и тут мне при-  
ходит в голову, что весь вечер я только и делал, что



думал о них. Это как в кино, которое уже видел, я знаю, что должно случиться: чтобы переодеться в свои брюки, Нинцо поднимется вместе со мной, и когда мы вновь окажемся лицом к лицу в моей пустой квартире, я запру дверь. Нинцо растерянно взглянет на меня, и какое-то время мы будем стоять, замерев на месте. Потом я пойму, что, если не обнять ее и не сказать что-то, она расплачется. А я не хочу, чтобы Нинцо плакала, так как слезы — это единственное в мире, что я не в силах вынести. Пройдет целая вечность, а мы все будем стоять обнявшись. Потом пройдет другая вечность, пока погаснет свет и наши нагие тела не заставят забыть нас и эту комнату, и эти улицы, и этот невыносимый, но любимый город... Мы увидим с нашего прозрачного ложа, как очень далеко внизу, на дне воздушного океана, медленно плывут горы, леса, реки и синие озера, на зеркальной поверхности которых вместе с облаками отражаются и наши тени...

Потом мы вернемся на землю и заживем все вместе: Нинцо, Анка, Тинико, моя мать, Баули и Тенгиз... Нет, такая перспектива наверняка меня не устраивает! Кому это нужно вообще — общежитие?! Мы что — стадо? Питомник? Оставьте меня, ради Бога!

— Если бы не ты, Нинцо, я сегодня наверняка бы подох.

Машина стоит у моего подъезда.

— Ты слышишь меня? Спасибо, Нинцо!

Я вижу ее спокойный, точеный профиль. Она не шевелится, даже головы не поворачивает. Я хлопаю ее по коленке и вылезая из машины.

— Эй, а мои брюки?! — окликает меня Нинцо. Положив локоть на соседнее кресло, она снизу вверх смотрит на меня. Хочется сделать какую-нибудь глупость. Снимаю брюки и со смехом протягиваю ей — я в восторге от собственного идиотизма. С грохотом захлопывается дверь, и машина срывается с места. Парочка под деревом перестает целоваться, и четыре изумленных глаза смотрят на меня. Я дебил!

В пыльной квартире полночь. Мне чудится, что в моей комнате к омерзительному папиросному запаху примешивается едва уловимый аромат дикого миндаля. Мамочки мои, как романтично! А что же говорит гениальный Генри Джеймс? Ложусь, включаю ночник.



«Изабелла проводила взглядом поезд и пошла вдоль окутанной туманом лондонской улицы. Весь мир лежал перед нею — она могла делать все, что угодно, и от этой мысли у нее перехватывало дыхание. На город спускались ноябрьские сумерки, тусклым красноватым светом горели уличные фонари, погруженные в коричневый туман...» Швыряю «Женский портрет» в угол комнаты и выключаю ночник.

До утра мне не заснуть. Буду таращиться в темноту и думать о том, что должен был сказать, как поступить и почему не сделал этого. Дурацкий «конский» хвост Нинцо будет прыгать перед глазами всю ночь напролет и бередить до предела натянутые нервы. А под утро, именно тогда, когда желанный сон будет уже близок, затарахтят эти блядские автобусы, завопят далекие поезда, а где-то внутри меня во весь голос заговорит совесть, причины угрызений которой я не знаю и не хочу знать.

За стеной, в соседской квартире бьют старые часы. Половина чего-то. Ночь на исходе, хотя еще темно. В темноте этой нет ничего, кроме огромной слепой бессонницы. Но несмотря ни на что, я люблю ночь — в двадцатичетырехчасовом цикле это самое честное время. Большинство людей спит. Во сне они стряхивают с себя, как лобно — стручок, шелуху культуры и цивилизации. Они спят так же, как спали австралопитеки в эпоху папоротниковых лесов: обнявшись друг с другом, или каждый сам по себе, но в мыслях друг о друге. Легкие проблески рассвета ласкают их уставшие тела, незаметно подготавливая аутодафе наступающего дня.

Кажется, звонок. Ночь кончилась. Окно стало светло-серым. Опять звонят. Встаю. Тело пронизывает утренний холод. Кого это принесло?

В дверях стоит Гурген Аршакуни. Чуть позади — Бадур. Молча заходят.

— В чем дело?

Оба молчат. У обоих обезумевшие лица.

— Что произошло?

— Сядь, — говорит Гурген.

— Вчера мы были у Мераба, — произнес, наконец, Бадур, — Отхмезури напился и...

— И что?



— И удрал от нас на машине. Нарвался на рейд, не остановился. Эти суки погнались за ним.

— Он попал в аварию?

Молчание. На глазах у Гургена появляются слезы.

— Вы скажете, наконец, что случилось?

Гурген закрывает лицо руками и отворачивается.

— Короче, — продолжает Бадур, — у «Арагви» он врезался в Нинцо.

Что-о? Какая ерунда! Чувствую, что что-то нужно сказать, но не знаю что. Почему-то сажусь. Нет, это ерунда, такого не бывает!

— У Отхмезури сломаны ребра... еще диафрагма... Короче, ничего серьезного.

«А Нинцо?» — хочу спросить, но слова застревают в горле.

— Нинцо... — начинает Бадур, и голос его прерывается.

— Что, Нинцо?!

— Как Нинцо, не знаю.

— Где она?!

— Не ори, твоей истерики мне не хватало!

— Где она?

— В девятой.

Гурген поворачивается ко мне, по лицу его ручьем текут слезы.

— Бадур-джан, — рыдает он, — я не буду мужчиной, если не найду того инспектора и собственно-ручно не оторву ему голову! Я иво маму...

Не обращая на него внимания, Бадур говорит мне:

— Одевайся.

Механически встаю, надеваю залитые вином брюки, вчерашнюю рубашку, и мы выходим. Гурген плачет и ругается. Бадур буквально силой тащит его за шиворот. Ноги у меня как ватные — не успеваю за ними.

— Бадур!

Бадур поворачивается ко мне, и по его лицу я вижу, что он знает, о чем я хочу спросить.

— Час назад не было никакой надежды.



Выходим на улицу. Рассветает, идет дождь. У подъезда нас ждет такси. Бадур садится впереди, Гурген — сзади. Я должен сесть рядом с Гургеном, но я не хочу в такси. Неведомая сила тащит меня в другую сторону. Ноги бегом несут меня куда-то. Это невозможно! Невозможно! Деревья проносятся мимо вместе с домами. Ловлю на себе любопытствующие взгляды прохожих — за мной гонятся Бадур и Гурген. Это невозможно! Вы что, не понимаете? Мать вашу! Мать вашу! Мать вашу! Выдохшись, останавливаюсь. Запыхавшийся Бадур бьет меня по лицу.

— Ты что, свихнулся?

Гурген заталкивает меня в машину. Ничего не слышу, ничего не вижу, кроме запотевших стекол.

— Хочешь сигарету? — в третий раз спрашивает меня Бадур.

— Нет.

— Не будь бабой.

Рукавом протираю стекло. Дождевые капли за окном, выцветший город. Смотрю на дождь и успокаиваюсь. Беру у Бадура сигарету. Гурген подносит спичку. Приехали.

Дождь перешел в настоящий ливень. По улицам несутся стремительные потоки. Сигарета мгновенно намокает. Кто-то бежит под дождем.

Мы входим в приемную девятой больницы. Бадур что-то говорит вахтеру. Он ведет нас по пустому длинному коридору куда-то вниз. Грязный цементный пол и кафельные стены. Коридор сворачивает вправо. Неясные голоса и тревожная суета.

«Моя вина, моя» — вост кто-то. С трудом узнаю голос Тенгиза. У металлической двери хлопчут несколько мужчин. Здесь же — отец Отхмезури, высокий, интересный, с белым, как мел, лицом. Тенгиз рыдает в голос. Санитары или врачи (не поймешь) стоят в полном молчании и считают мух на кафеле. Тенгиз с ревом кидается на стенку, колотит по ней кулаками. Потом бьется головой о кафель. Двое мужчин хватают его за руки (один из них его шофер).

«Моя вина, моя!» И вновь рыдания. Тенгиз рвется к стене, но его крепко держат. Он головой достает до



холодного кафеля. Бьется лбом о грязную стену. Отец Отхмезури бессмысленно смотрит на меня и Бадура, явно не узнав нас, потом поворачивается и уходит. И вдруг с ужасающей явственностью все это связывается с Нинцо... С маленькой дурочкой Нинцо, которая лежит сейчас за этой железной дверью одна, отрешенная от всего, голая, как новорожденная.

Плечи ощущают непривычную тяжесть. От напряжения свело шею.

— Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой??! — голос Бадура.

Хочу ответить «ничего», но из раздавленного страшной тяжестью тела исторгается лишь какой-то хрип. Тенгиз уже не лезет на стену — сидит на пожарном ящике с песком и тихо плачет. Мне видны его туфли и часть спины — стоящие вокруг люди загораживают его... И вдруг неожиданно я осознаю, что люблю этого идиота, люблю этого подонка и негодяя Тенгиза. Я понимаю, что творится с этим животным, потому и люблю и жалею, тем более, что в сравнении с ним чувствую себя настоящим педерастом и чудовищем. Вот сейчас, минуты через две я подойду к нему, опущусь рядом на корточки, положу ему на колени руки и объясню, что истинный виновник не он, а я. Скажу и то, что завтра непременно начнется потоп, и опять же виной этому буду я... И единственное, что я смогу сделать, — первым захлебнуться в водах, прибывших, чтобы затопить мир.

Но прежде чем это произойдет, оставшиеся несколько часов я использую на то, чтобы повидать дочь Нинцо, Анку. Я скажу ей, что мы — причина этого потопа, и он не является наказанием Божьим, потому что Бог — не милиционер и не прокурор. Эти мутные воды — мы сами, все поколения, предшествующие Анке, это наше бешенство и злоба, которые мы копили и множили так, что в конце концов плотины не выдержали, их прорвало, как старую канализацию. Это произошло потому, что у твоих дедов, Анка, не было способности, а у твоих отцов — силы любить друг друга, любить этот грязный хлев, у которого такое прекрасное имя — Земля. Зато им хватило свинства вторично



распять свою самую красивую и большую мечту и про-  
менять Бога на червь сомнения.

Но я скажу тебе и то, моя маленькая, моя глупень-  
кая Анка, что в твоих жилах — теплая кровь **Нинцо**.  
Эта кровь, каждый раз, перед сном, будет нашепты-  
вать тебе одно-единственное верное слово из вонючего  
лексикона людей и еженощно готовить тебя к любви,  
которая способна остановить мутные воды потопа. Ты  
вырастешь и сможешь сделать то, чего не смогли сде-  
лать мы. И помни, что в начале было Слово, совершен-  
ное, теплое и беспредельное... как кровь Нинцо.

Перевод Гурама ГВИНЧИДЗЕ





Паола УРУШАДЗЕ

ПАРАДОКС О ТЕАТРЕ

Тамаре Цулукидзе

Что Шекспир с его считанной горсткой смертей!  
Наш Театр, тебе он не страшен...  
Ведь когда-то, по воле жестоких страстей,  
Ты сыграл настоящую «драму идей»,  
И был истинной кровью окрашен.

Может, в мире такое случилось лишь раз, —  
Для истории случай бесценный —  
Чтобы так вот — без лишних затей и прикрас —  
Ворвалась бы эпоха на сцену.

Кто тогда был почище, а кто погрязней,  
Что виновней — любовь ли, вино ли? —  
Драматургами были другие — извне,  
И они ж раздавали все роли...

Может, кто-то и знал, для кого он играл...  
Побеждала не шпага — бумага...  
Сбитый с толку гудел переполненный зал,  
Не поняв — где Отелло, где Яго?..

Страсти рвали актеры — как надо — в клочки,  
Переигрывать было в почете,  
Но за это одним начисляли очки,  
А с другими кончали все счета.

Несть числа вам, испившие чашу до дна...  
О, великое братство, артисты,  
В вашем храме святом, как и всюду тогда,  
Поселился и правил нечистый.



Он лукавил, он зло выдавал за добро,  
Сеял страхи, наветы, раздоры...  
И платили ему вы посильный оброк,  
Кто-то — жизнью, а кто-то — позором.

Ну а годы былое в себе не таят,  
И чем дальше, тем ярче улики...  
Но ведь есть еще он, судия ваш — Театр,  
Ваш наставник, ваш пастырь двуликий,

У него свои мерки, расчеты, размах,  
Верит он только собственной правде,  
По которой проходят на равных правах  
В беспредельность и Гамлет, и Клавдий.

Не нужны — ни посмертные речи витий,  
Ни цветы... Им никто не обсчитан...  
Он великих своих причисляет к святым,  
А святым он — и рай, и защита.

## В АЛЬБОМЕ

Манане Роговской

...И старый костел... и залитые солнцем  
Католики — цвет кутаисской общины...  
Почетно, по правую руку от ксендза,  
Сидит там твой прадед — суровый и чинный.

...И дед твой поодаль — студентом Сорбонны —  
Стоит у решетки нездешнего парка...  
А вот он опять — молодой и влюбленный,  
Венеция, голуби, площадь, Сан-Марко.

А рядом... и тут из альбома повеет  
Духами, театром, осенней аллеей,  
Чудесная бабушка, дама-камея,  
Взирает на нас, как и прежде — жалея...

Жалея за вечную нашу усталость,  
За все неизбывные наши заботы,  
За то, что, застав ее тихую старость,  
Не знаем, как жили в те — «лучшие годы»...



Когда вместе с нею и город был молод,  
А на Головинском — знакомы все лица,  
И не было странным вдруг встретить Паоло  
И Тициана... с гвоздикой в петлице...

## К А Т Е

Будь начеку... быть может сквозь века  
За нами, как в комедии Шекспира,  
Какие-нибудь три весельчака  
Из смежного подглядывают мира...

И наши беды, страхи и позор  
Для них ничто — безделица, потеха...  
Как сквозь забор, сквозь временной зазор  
Глядят на нас и давятся от смеха.

А значит мир не так уж сер и плох...  
Ты не ершишь — возможно и такое.  
И не пытайся их поймать врасплох,  
В ладоши хлопни, сосчитай до трех  
И наугад им помаши рукою.

## ГИЛЬДЕНСТЕРН—ГАМЛЕТУ

Что вам такого насаждала Тень,  
Какого яду вам дала она отведать?  
Ученый человек — и дюжина смертей!  
И ни один вопрос не завершен ответом!

Сместилась ось души, сменен ее состав,  
Да, это страшно, это больно... Очень!  
Но этой боли должное воздав,  
Вы заключили — век вконец источен...

И вправду легче — посох да сума,  
Да прочь бежать из вспыхнувшего зала...  
Светлейшее сошествие с ума, —  
Кого оно когда-нибудь спасало?

Бредете коридорами дворца,  
Потухший взгляд, приспущенный чулочек...  
Ответчик — век, истица — Тень отца,  
А подсудимые — лишь близкие да отчим.



Без данных, без улик, без знания основ  
Вы над людьми чудили как алхимик:

«Горсть датской почвы, горстка детских  
Щепотка слов» — и стали все плохими...

СНОВ,  
ЭПЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Невесте — «в монастырь!» И вот невесты нет,  
Мать — на позорный столб! И в этом преуспели...  
А старый хлопотун! Какой чудесный дед  
Мог выйти из него... Да вы не захотели.

Когда актеры, смыв испарину и грим,  
Пришли просить за труд и кланялись неловко,  
И вам бы в этот миг отбиться от Игры,  
А Клавдию вполне хватило б «Мышеловки».

Гугули КЕБУРИА

## ЛАБИРИНТ

Когда мой давнишний приятель — Гугули Кебуриа в один прекрасный вечер позвонил мне и сказал, что начал писать, первая же мелькнувшая мысль была, что это «публицистическое обоснование» какого-либо проекта (он по образованию — инженер), или же, на худой конец, — мемуары кающегося Казановы. Оказалось — стихи (причем — на русском), и в лучших из них мы видим, как несмотря на свою бурную биографию, а может быть, именно благодаря ей Гугули Кебуриа воспринимает жизнь и любовь глазами поэта, а не кающегося грешника.

Редактор

Я болею романтизмом  
Много-много лет,  
И лечу его цинизмом,  
Но спасенья нет.

Верю слову я любого,  
Если он не шут,  
А споткнувшись, верю снова, —  
Так красиво лгут.



Все мне кажутся «святыми»,  
Даже тот «слепой»,  
Промышляющий на ниве  
Жалости людской,



Друг мой — пьянствующий философ —  
Учит меня жить.  
Для него вопрос вопросов:  
«Пить или не пить?»

Если пить, то путь к могиле  
Водка сократит,  
«Лучше пить, чем жить в сортире,—  
Друг мой говорит, —

Ты разуй глаза пошире,  
Оглянись вокруг.  
Даже куклы в «Детском мире»,  
Как живые, лгут.

Любы руки им любые,  
Рады хоть в гарем,  
Как путаночки крутые,  
Строят глазки всем.

Дома у тебя такая  
«Самый верный друг»,  
Ее хлопцы у сарая  
Секс-рэкетом зовут.

И не верь ты Коломбине,  
Как паяц слепой,  
Иначе взлетишь на мине  
Подлости людской.

Не держи змею в квартире,  
У тебя не рай.  
Ты веди себя, как в тире,  
В «яблочко» стреляй».

Что сказать мне на прощанье,  
Где найти ответ?  
Как лекарство от измены  
Вреден пистолет.



Не могу я перед Богом  
Отвечать за всех,  
Ведь не я мостил дороги,  
Где гуляет грех.

Оживил бы Галатею,  
Как Пигмалион,  
Но убить живую фею  
Не велит закон.

Я не снайпер и не киллер,  
Этот бой не мой,  
Слишком много грешных в мире,  
Я и сам такой.

Мой сосед живет счастливо —  
Водкою храним.  
Каждый вечер анонимно  
Мы в «раю» сидим.

С другом пьем теперь мы в меру,  
С ним мне по пути,  
Впрочем, в лабиринте этом  
Выход не найти.

Я болею романтизмом,  
Много-много лет,  
И лечусь алкоголизмом,  
Но спасенья нет.

### «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

Вы спускаетесь в бар, вы садитесь  
у столика крайнего,  
Чтоб потом незаметно, для себя же  
бесследно, уйти.  
Вам не хочется слов, вы идете  
из рейса дальнего,  
Вам до гавани надо свой бокал,  
не разбив, донести.  
В нем души весь настрой, в нем  
и запах и вкус состояния,  
В нем весь пройденный путь закодирован,  
словно тайник.



Стоит выпить его, и откроется  
все расстояние,  
И доверчивым шепотом вам про вас  
все расскажет двойник.  
Вы увидите след, уходящий  
в далекое прошлое,  
Словно пена волны, отстающей,  
как жизнь, за кормой.  
Вы столкнете за борт  
все случайное, ветхое, пошное,  
Не оставив себе  
ни греха, ни гроша за душой.  
Но бокал уже пуст,  
хоть вино продолжает движенье,  
Разнося по углам сердцу милые  
письма, слова.  
Мы храним их всю жизнь, как копилку  
святого волненья,  
Как аквариум детства,  
из которого слита вода.  
Вы встряхнете душой, отгоняя  
страниц наважденье,  
Вы посмотрите в зал, наливая  
напиток в бокал.  
И случайно в него попадет  
хрупкий миг наслажденья,  
Вы увидите рядом, столь знакомый,  
камеи овал.  
Вы поймете тогда, что напрасно  
тоскуете в гавани,  
Что не штиля, а шторма ждут  
ревнивой любви паруса,  
Что пора выходить Вам, навстречу ветрам,  
снова в плаванье,  
И, подняв свой бокал, вы посмотрите  
даме в глаза.  
И в безмолвный ваш мир вдруг ворвутся  
мелодии страстные.  
И по палубе шаткой затанцует  
интриги канва,  
А в каюте у вас будут длиться любви  
сны прекрасные,  
И продолжат свой спор день и ночь,  
и огонь и вода.





Тамаз ЧИЛАДЗЕ

## АРОМАТЫ АРАВИИ

ДРАМА В 2-х ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица:

АНАСТАСИЯ — 90 лет.

МАРИЯ — ее невестка, 70 лет.

В этой пьесе вымышлено все, и в первую очередь—действующие лица. Любые попытки найти жизненные аналогии — заведомо беспочвенны и ошибочны. Из жизни взяты лишь стрельба и сгоревшая школа.

### 1-е ДЕЙСТВИЕ

Сцена представляет собой гостиную старинной квартиры — ныне дом-музей. В гостиной два окна и две двери. Одна дверь ведет к кухне и туалету, другая — в задние комнаты.

Тут много таких вещей, которых уже не встретишь в обычных квартирах, например — граммофон, ширма с японским рисунком, кресло-качалка. Стены увешаны картинами и старыми афишами. В вазе — бумажные цветы.

Надо думать, что обитатели этой квартиры являются в то же время сотрудниками своего же дома-музея. Вся обстановка, этот музейный реквизит отражается на их характере и внешности, а также, возможно, и на особенностях речи. Одеты просто, но явно не по-домашнему. Здесь все и вся имеет несколько театральный облик...

При раскрытии занавеса обе женщины заняты своими делами — свекровь смотрится в ручное зеркало, невестка читает книгу.



МАРИЯ — (Приподнимая голову) Да, я слушаю вас?

АНАСТАСИЯ — Разве я что-нибудь сказала?

МАРИЯ — Мне показалось.

АНАСТАСИЯ — Нет... и не думала...

МАРИЯ — (Смеется) Ха, ха, ха.

АНАСТАСИЯ — Почему смеешься?

МАРИЯ — Так... ничего... вспомнила что-то...  
(Пауза, закрывает книгу) Странный сон я видела вчера...

АНАСТАСИЯ — Надоела ты со своими снами!

МАРИЯ — А это был и сон и фильм одновременно. И себя видела — и участвовала. Будто бы шли по тростникам, шлеп-шлеп резиновыми сапогами, только не помню, кто были другие.

АНАСТАСИЯ — А ведь во сне как раз другие и интересны!

МАРИЯ — Знаю, но не помню, не стану же я выдумывать! А тростник, грубый, мокрый, вонял, как солдатское белье. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп — и еще птицы какие-то кричали.

АНАСТАСИЯ — Откуда тебе знать про солдатское белье?

МАРИЯ — Сколько раз я вам говорила: в детстве мы жили во дворе лазарета, отец был хирургом. Не помню, что это были за птицы... Господи, дай вспомнить!

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) Кто же просит об этом Бога?

МАРИЯ — Между прочим, вас там не было!

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) Только этого мне не хватало!

МАРИЯ — Во сне, говорю, во сне!

АНАСТАСИЯ — Хотя бы и во сне... (После паузы) Знаешь, о чем я думаю? Интересно тебе, что думает человек, которого ты еще не заела? На твоём месте, меня бы заинтересовало, каким образом этот человек еще сохранил способность думать. Он ведь и думать уже не должен, а сидеть и ждать, когда придет его черед...

МАРИЯ — (Со смехом) Его черед давно пришел, однако...



АНАСТАСИЯ — Что однако? Договаривай уж. Что за привычка! Да простит мне медицина, но это плоды дурного воспитания. Слов тебе не хватает, слов, чтобы ясно высказаться. И не тебе одной. Весь мир лепечет, разучился разговаривать!

МАРИЯ — (Со смехом) Я не привыкла есть окаменелости.

АНАСТАСИЯ — А ведь правда мы всех пережили, никого вокруг не осталось, все умерли... (Смеется) Выдержки не хватило с нами справиться.

МАРИЯ — Тут другое нужно, а не выдержка.

АНАСТАСИЯ — А что именно, скажи, ты ведь умная.

МАРИЯ — Тут нужен бронетранспортер!

АНАСТАСИЯ — Ну и слово!

МАРИЯ — Какие же это кричали птицы? А ведь женщине вашего возраста не пристало так красоваться перед зеркалом.

АНАСТАСИЯ — Какой еще возраст? (Смеется) Разве музы стареют? Муж называл меня Мельпоменой, печальной музой трагедии.

МАРИЯ — Это который называл вас так?

АНАСТАСИЯ — Не помню... Знаешь, правда не помню... Но кто-то называл. Поднимаю бокал за мою гневную музу — так он за меня пил (Со смехом). Как ты думаешь, сколько мне лет?

МАРИЯ — Не пойму, как он вас называл — печальной или гневной?

АНАСТАСИЯ — Это одно и то же.

МАРИЯ — Нет, ничего подобного. Печальной называют Евтерпу, музу лирики.

АНАСТАСИЯ — Господи, ну и образованна же ты! Все помнишь.

МАРИЯ — Кто-то ведь должен помнить.

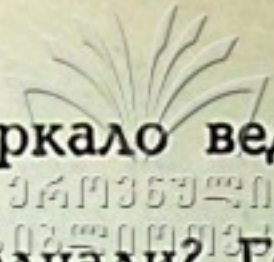
АНАСТАСИЯ — А все же, сколько мне будет, как ты думаешь?

МАРИЯ — Так — под девяносто... да? Мне скоро семьдесят один.

АНАСТАСИЯ — Боже, неужели я правда так хорошо выгляжу? Неужели ты считаешь, что я кривляюсь перед зеркалом? Я вообще себя там не вижу.

МАРИЯ — Для чего тогда вам зеркало?





АНАСТАСИЯ — О, Мария, Мария, зеркало ведь убежище для женщины.

МАРИЯ — (После паузы) Почему замолчали? Горшок принести?

АНАСТАСИЯ — (Гневно) Не смей! Не нужен мне горшок! Сколько раз тебе говорить, не перебивай!

МАРИЯ — Опять под себя...

АНАСТАСИЯ — Боже, какая клевета! Боже, что я слышу — под себя! Как ты смеешь! До чего мы докатились!

МАРИЯ — Хотите яблоко натру? Одно еще осталось.

АНАСТАСИЯ — Натрешь? Своими руками?

МАРИЯ — Да.

АНАСТАСИЯ — Натрешь мне яблоко?

МАРИЯ — Скажите — да или нет?

АНАСТАСИЯ — Как я постарела! Не могу себе простить, как будто я виновата. А может, и правда виновата. Могла ведь и не стареть...

МАРИЯ — Это что-то новое! А как, каким образом, какими путями, какими средствами...

АНАСТАСИЯ — Сколько слов ты знаешь...

МАРИЯ — ...удалось бы вам это?

АНАСТАСИЯ — И дашь мне?

МАРИЯ — А говорите — слов не хватает!

АНАСТАСИЯ — Знаешь, о чем я думаю? На этом свете все условно, и музы, и зеркало, и, представь, — даже птицы! Для одних все — ничего, для других ничего — это все.

МАРИЯ — (Не слушает, про себя) Хоть бы уехать, хочу уехать, куда-нибудь, все равно, лишь бы уехать...

АНАСТАСИЯ — Ты сегодня тазепам принимала?

МАРИЯ — (Не слушая) Проснулась во сне. Кто-то звонил в дверь. Открыла. Никого. Как хочу уехать! Долго стояла у двери. Целый век. Очень, очень долго...

АНАСТАСИЯ — Что там на улице?

МАРИЯ — Во сне или наяву?

АНАСТАСИЯ — Наяву. Что творится во сне, я знаю лучше тебя.

МАРИЯ — Ничего не творится. Спокойно. Знаете, первая школа сгорела.

АНАСТАСИЯ — А все же, куда ты собралась?



МАРИЯ — Не знаю, я же сказала. Но очень хочу. Ждать поезда. Как давно я не ездила поездом. Подняться в вагон. Лечь в казенную постель, закутаться. Люблю спать в поезде. Если спишь в поезде, значит, едешь далеко.

АНАСТАСИЯ — В нашем возрасте только далеко и едут.

МАРИЯ — Неправда! Неправда! Неправда! Какая вы злая! Я моложе вас на 20 лет, моя жизнь еще не кончилась. Нельзя же насильно кончать жизнь.

АНАСТАСИЯ — Мы обе в таком возрасте, что несколько лет, даже двадцать, значения не имеют.

МАРИЯ — А что имеет значение? Все на свете имеет какое-то значение.

АНАСТАСИЯ — Главное, не забыть зеркало!

МАРИЯ — Что?

АНАСТАСИЯ — Быть женщиной до конца. Тебе этого не понять, старуха.

МАРИЯ — Это я старуха?

АНАСТАСИЯ — Да, ты!

МАРИЯ — С ложечки кормлю, в туалет вожу, и я же старуха?

АНАСТАСИЯ — (Смеясь) Ты и родилась старухой. Всегда была старухой. Старики такие жадины. (Опять смеется) Замечала, как едят беззубые?

МАРИЯ — Это я беззубая?

АНАСТАСИЯ — Метафор не понимаешь, а еще муз по именам помнишь! Оставь ты этих несчастных в покое, не приставай к ним, пусть хоть они останутся на этом свете.

МАРИЯ — (С иронической улыбкой) Только они?

АНАСТАСИЯ — Хотя бы!

(В это время снаружи доносятся частые выстрелы)

МАРИЯ — Ложитесь, ложитесь скорее!

АНАСТАСИЯ — И ты ложись.

МАРИЯ — Уже лежу.

АНАСТАСИЯ — Ну, на это ты горазда!

МАРИЯ — Скорее, говорю, скорее! (Ложатся на пол. Через некоторое время, когда выстрелы чуть-чуть стихают) Мама! (Свекровь не отвечает. В страхе) Мама! Мама!

АНАСТАСИЯ — Чего раскричалась?

МАРИЯ — Я думала...



АНАСТАСИЯ — Не дождешься (Смеясь)... Как я испугалась! И чего мне бояться, наши все дома.

МАРИЯ — Чего рукой машете?

АНАСТАСИЯ — Не тебе машу, хочу за что-нибудь уцепиться. Должна же я встать, в конце концов!

МАРИЯ — Пойдите, я вам помогу.

АНАСТАСИЯ — Себе помоги.

МАРИЯ — Сказала, пойдите...

АНАСТАСИЯ — Не настолько уж я старше тебя, если вообще я старше.

МАРИЯ — Вечное ваше бахвальство. (Помогает подняться) Осторожнее, осторожнее, прекрасно. Ну-ка, сядем в кресло. Посмотрите-ка на нее — вскочила как девочка. А может, правда она младше, а мы и не знали, обижали девочку. Может, она невестка, а я свекруха, кто знает, вполне возможно. А ведь и правда, я уж и перепутала, уж и не помню, кто я, столько ролей приходится играть в руках этого узурпатора-режиссера — женщины, мужчины, ребенка. Давайте укрою ноги пледом, холодно у нас. Все мерзнут. А как вы вспорхнули с кресла, как только выстрелы услышали! Может, правда вы маленькая девочка, а?

АНАСТАСИЯ — (Раздраженно) Почему стреляют?

МАРИЯ — А вы спросите.

АНАСТАСИЯ — Кого спросить?

МАРИЯ — Себя спросите, хотя, кого себя — не знаю — маленькую ли девочку, невестку или свекровь, а может, террориста? Ну да, это ведь как раз дело террориста, он будет знать. Давайте спросим дядю Бикфорда, он скажет, почему стреляли. Дядя Бикфорд! Дядя Бикфорд! Прошу сюда, пожалуйста!

АНАСТАСИЯ — Его не Бикфордом звали.

МАРИЯ — А разве вы его настоящее имя помните?

АНАСТАСИЯ — Нет, не помню... Кажется, имени у него совсем не было, был безымянный, потому что скрывался. Это папа говорил, смеясь, прикрывая рот рукой, чтобы тот не слышал — мол, Бикфордом его зовут. Да, но откуда тебе знать, что говорил мой папа, кто тебе сказал?

МАРИЯ — Папа говорил со смехом, хмыкал в кулак, его, мол, хм, хм, хм, его... ха, ха, ха...



АНАСТАСИЯ — Хватит, прекрати! Что говорил папа?

МАРИЯ — Его, мол, Бикфордом звать, паясничал ради нас, чтобы мы не боялись...

АНАСТАСИЯ — Но ты, ты откуда знаешь?

МАРИЯ — Да ведь вы рассказывали, да еще сколько раз! Что вы смотрите? Что-нибудь не так?

АНАСТАСИЯ — Нет, ничего...

МАРИЯ — А все же?

АНАСТАСИЯ — Мы обе обмануты надеждой, Мария. А что еще могло дать нам силы выдержать, кроме лжи. Надежда и есть самая большая ложь. К тому же сладкая и губительная. (Слышны звуки выстрелов) Лечь?

МАРИЯ — Нет, далеко стреляют.

АНАСТАСИЯ — Хоть бы знать, с кем они воюют?

МАРИЯ — Сами с собой... Несчастный народ.

АНАСТАСИЯ — Между прочим, я училась в той школе...

МАРИЯ — И я, между прочим.

АНАСТАСИЯ — И что, нас там научили сжигать школы?

МАРИЯ — По-видимому.

АНАСТАСИЯ — Будто школа сама облилась бензином и пылает, по собственной воле. А если и так, я бы и не удивилась. И помочь некому... Страшно, когда во сне хочешь что-то сделать и не можешь...

МАРИЯ — Это называется кошмаром!

АНАСТАСИЯ — Но оказывается, во сто крат хуже, когда то же самое повторяется наяву. А это как называется, не знаешь? Так я тебе скажу. Это старость, самый кошмарный кошмар.

МАРИЯ — Будь вы даже молоды, не смогли бы помочь.

АНАСТАСИЯ — Замолчи!

МАРИЯ — Почему кричите, мама?

АНАСТАСИЯ — Я и так молода! (После паузы) Молчишь? Не удивляешься?

МАРИЯ — Вы уже ничем не можете меня удивить.

АНАСТАСИЯ — Просто стоит и горит.

МАРИЯ — Да, самый настоящий кошмар.

АНАСТАСИЯ — Нет, это еще не кошмар. С кош-



маром еще можно как-то справиться. Вот ты ведь помогаешь мне, когда я задыхаюсь во сне, хриплю, вся в холодном поту, ты подходишь и будишь меня. Я вскакиваю в беспмятстве. Открываю глаза и сразу чувствую облегчение. А наяву кто поможет, кто может помочь? Кря-кря-кря!

МАРИЯ — Что вы сказали?

АНАСТАСИЯ — Может, это были утки? Утиный крик называется — кря-кря-кря.

МАРИЯ — Да, может быть...

АНАСТАСИЯ — Кто меня разбудит, кто?

МАРИЯ — (Подходит, обнимает за плечи) Вы два дня ничего не ели.

АНАСТАСИЯ — Улица правда перекрыта?

МАРИЯ — Не только улица, весь квартал перекрыт.

АНАСТАСИЯ — Неужели мы одни в этом доме?

МАРИЯ — Да, мы одни.

АНАСТАСИЯ — Живем на острове...

МАРИЯ — Загубили страну, сволочи.

АНАСТАСИЯ — Всегда мечтала жить на острове. Выходить утром на берег, слушать звук выплывающего из тумана катера. Будто на этом катере я отправляюсь на службу, а служу я на почте. Люблю почту, особенно в маленьком городке, где все друг друга знают. На почте единственный телефон. — Алло, алло, Тбилиси! А вечером будто на том же катере я возвращаюсь на остров, а дом стоит на берегу, а в доме пылает печь, папа играет в нарды с соседом...

МАРИЯ — Папа?

АНАСТАСИЯ — Ты что, каждому моему слову веришь?

МАРИЯ — Конечно!

АНАСТАСИЯ — Господи, Боже мой! Когда у меня поднималась температура, приходил папа. Почему не спрашиваешь, что он делал на острове? Садился у постели, раскрывал нарды на коленях, как старинную книгу...

МАРИЯ — Что же вы плачете?

АНАСТАСИЯ — (Вытирая слезы) Посмотри, какой у меня кружевной платочек, я тебе показывала?

МАРИЯ — Как же, как же...



АНАСТАСИЯ — А этот остров, кстати, действительно существует. Ты видела Енисей?

МАРИЯ — (Со смехом) Ну конечно, правда лишь на карте.

АНАСТАСИЯ — На карте это совсем другое, на карте река похожа на червячка. Там стоял деревянный дом на берегу... В доме жила старуха и еще очкарик-японец. Только голоса помню, вспоминаю по голосам. Вот скрипит прогнивший настил на улице, вот трещит лед на реке. Голоса вижу — вот японец сидит в кадке с кипятком, голова торчит. Голова японского Иоанна Крестителя! Банзай! Мне, бывшей актрисе, — оказывается, можно быть бывшей актрисой, бывшим человеком, бывшей птицей, бывшим псом — поручили поставить спектакль к 7 ноября. И японец готовится, потому и сидит в кадке. У него значительная роль — он вносит красное знамя и кричит: «Банзай! Банзай!» Мне сорок лет. Сегодня исполнилось сорок. Рукавом протираю запотевшее зеркало — Боже мой... Владимир Ильич, который, конечно же, — главный герой, одет в белую рубаху до пят, а на спине крылышки из картона, сидит в углу и самозабвенно наяривает на аккордеоне. Роль помнишь? — спрашиваю японца. Вместо ответа кивает головой и скалится. Кто не видел зубов японца, может считать, что ничего не видел. Банзай! Потом все поем «Черную ласточку», и чувство признательности чуть ли не душит нас. Банзай!

МАРИЯ — Тот японец тоже любил вас?

АНАСТАСИЯ — Безусловно! Я терпеть не могла мужчин, которые меня не любили, кто бы это ни был!

МАРИЯ — Еще скажете, что и вы его любили!

АНАСТАСИЯ — А как же! Любила!

МАРИЯ — Что это, что творится, можно ли столько любить! Сколько можно любить!

АНАСТАСИЯ — Ты считаешь, что любовь выдают по талонам? (Поднимается, срывает шаль и размахивает в воздухе) Банзай! Банзай!

МАРИЯ — (Считает на пальцах) Первый муж, второй муж, третий муж, и еще один японец...

АНАСТАСИЯ — (Кружится на месте) Все перепуталось в голове, кто после кого, не помню. Кажется, первым был японец.



МАРИЯ — (Тоже снимает шаль, размахивая ею, как знаменем) Я тоже, я тоже ничего не помню, ничего!

АНАСТАСИЯ — (Замирает, меняясь в лице) Ты? Что же ты не помнишь?

МАРИЯ — (Останавливаясь, почему-то растерявшись) Ничего... ничего не помню. (Тверже) Совсем ничего.

АНАСТАСИЯ — Совсем ничего?

МАРИЯ — Да...

АНАСТАСИЯ — Совсем, совсем ничего?

МАРИЯ — (Испуганно) Что я должна помнить? Не знаю, что вы имеете в виду, я просто так сказала, за вами следом...

АНАСТАСИЯ — Не стоит идти по моим следам. Это к добру не приведет. (Садится в кресло) Как я люблю танцевать. Всегда любила. Ах, еле дышу. Что же вы хотите, иначе и нельзя. Танец — язык одержимых, одержимых молодостью. О, молодости свойственна одержимость! От нее шалеешь, задыхаешься, травишься, бросаешься с утеса, приставляешь к виску револьвер, жмешь на курок, медленно, медленно и вдруг бац! Молодость любит жертвы. Ой, устала... Я работала на почте. Там, на весь край был только один телефон, старинный, с крутящейся ручкой. Никто не мог звонить по этому телефону. Иногда, когда я оставалась одна, брала трубку и будто говорила с Тбилиси! Алло, алло, Тбилиси, Тбилиси... Повторяла это единственное слово и плакала, плакала... Никогда не чувствовала себя такой счастливой... Не понимаю, что со мной творится, кажется, стоит мне подняться, сделать один шаг и я превращусь в маленькую собачку. Гав! Гав! Иди ко мне, бедненькая! Простите, почему это моя собачка бедненькая, сударь? Это голос моей мамы, она только что вернулась из Сурами, вся в белом, и шляпа белая, даже дома ее не снимает, хотя на дворе снег, мороз, Рождество... Это, сама понимаешь, время, когда у детей рот набит рождественскими пирожками, а не турецким шоколадом и жвачкой. Глупенький ты мой, напевает мама и крутится на одном месте, вроде как мы с тобой только что, почему ты дал себя убить, ведь ты так любил Рождество! Гав! Гав! Молчать, кому я говорю, как же осточертели эти



собаки. Отец Амвросий, обращается мама к священнику, почему вы не танцуете? Священник стыдливо улыбается, буравит подбородком грудь, стараясь спрятать голову. На его тарелке лежит свиное ухо, как ракушка на папином столе. Отец Амвросий двумя пальцами гладил двойной подбородок нашей служанки, Амалии, как будто доставал из стакана сливки. Амалия, да, так ее звали, хотя мы все называли ее «дылдой» — пошевеливайся, дылда, ступай быстрее, ты, косая. А она думала, что все шутят с ней, и все время хихикала. А мы — воспитанницы Заведения благородных девиц — встречали отца Амвросия реверансом и целовали руку. Сегодня Рождество, да пребудет с вами... — слышу его розовый, смачный, чуть хмельной, бархатный баритон — да, сударь, к Рождеству очень подходят пироги и свиная голова. Не хотите ли горчицы? Спасибо, сударыня! Как вкусно. Мама, мамочка, маменька! В тот день, полвека назад, мы не смогли найти твою могилу. Там, где мы тебя искали, стоял сиреневый лес, сиреневая армия, сиреневые оккупанты. Вечно путается под ногами эта собака!

МАРИЯ — Где вы видите собаку?

АНАСТАСИЯ — Мария, слышишь, Мария!

МАРИЯ — Слышу, не кричите.

АНАСТАСИЯ — Выгони ты эту собаку, я боюсь.

МАРИЯ — Чего вы боитесь, когда это вы собак боялись?

АНАСТАСИЯ — Никогда, никогда я не боялась собак. Напротив, я всегда их любила...

МАРИЯ — Больше людей!

АНАСТАСИЯ — Да, больше людей и не ошибалась, нет, не ошибалась. А сейчас боюсь, боюсь этой маленькой шавки, которая не кусает меня только потому, что ленится, она любит только лаять, лаять ей охота. Лай — это песнь собак. У нашей собачки меццо-сопрано, она начинающая, пока еще в консерватории у нее не отбили страсть к пению, пока она поет: гав, гав, гав! Выгони ее, Мария, выгони вон, говорю. Кто впустил ее в дом, как мамина собака попала к нам?

МАРИЯ — А она хочет укусить тебя! Гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — Что ты от меня хочешь, собака?

МАРИЯ — Ничего, соскучилась по тебе.

АНАСТАСИЯ — Откуда ты, издалека?



МАРИЯ — О-о, не спрашивай.

АНАСТАСИЯ — Что с моей мамой?

МАРИЯ — Я ее оставила в сиреневом лесу.

АНАСТАСИЯ — Что она делает в сиреневом лесу?

МАРИЯ — Топают в белых туфельках по камням.

АНАСТАСИЯ — По камням?

МАРИЯ — Да, там сирень и камни.

АНАСТАСИЯ — Если что-нибудь погубит человечество — так это скудность фантазии...

МАРИЯ — Мы — собаки не любим поэзии.

АНАСТАСИЯ — А что же вы любите, собаки, я же не знаю, что доставляет вам радость?

МАРИЯ — Укусить тебя за ногу, например.

АНАСТАСИЯ — А помнишь священника, собака?

МАРИЯ — Как же, отец Амвросий.

АНАСТАСИЯ — А моих сестер — Софочку и Олю?

МАРИЯ — Как же, как же, они тоже в сиреневом лесу играют.

АНАСТАСИЯ — А нашего постояльца, дядю Бикфорда?

МАРИЯ — И не напоминай, это он орал на меня, хотел выгнать.

АНАСТАСИЯ — Послушай, собака!

МАРИЯ — Меня зовут Мария!

АНАСТАСИЯ — А я говорю, собака!

МАРИЯ — Гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — Во что играют мои сестры?

МАРИЯ — В дом-дом.

АНАСТАСИЯ — (Изменившимся голосом) Во что?

МАРИЯ — В дом-дом... В дочки-матери... А что?

АНАСТАСИЯ — Никогда у меня не было своего дома (Плачет).

МАРИЯ — Мама, мама, что с вами, мы же играем?

АНАСТАСИЯ — Да, играем... играем... (Утирает слезы) играем... (После паузы) Мария, ты знаешь, еще три дня — и Рождество!

МАРИЯ — Знаю, мама.

АНАСТАСИЯ — (Смеется) Рождество!

МАРИЯ — (Смеется) Рождество!



АНАСТАСИЯ — Да, после того мы все время так играем.

МАРИЯ — (Вздвогнув) После чего?

АНАСТАСИЯ — Хочется сказать несколько слов, например: Рождество, Бикфорд и полный мочой горшок, который Амалия все время забывала выносить из той комнаты, где мы прятали «террориста», т. е. дядю Бикфорда. Одним словом, хочу воссоздать для тебя картину того Рождества в нашей семье, но, к сожалению, не могу.

МАРИЯ — Разве это не ваш дом?

АНАСТАСИЯ — Нет, на этой планете у меня нет дома.

МАРИЯ — В этой семье вы всегда были главной, вы были хозяйкой! Разве вы не чувствовали этого, хотя бы по моему отношению к вам? А если чувствовали, то почему говорите, что у вас не было своего дома? Что это, если не дом? Из этого дома вынесли вашего мужа, вашего сына...

АНАСТАСИЯ — Никогда!

МАРИЯ — Что?

АНАСТАСИЯ — Никогда у меня не было дома. Этот дом тоже был театром, и в нем я играла.

МАРИЯ — Не говорите этого.

АНАСТАСИЯ — Раз говорю, значит, так и было. Однажды, днем, после репетиции, на пустой сцене, одна, на коленях, я молилась — Боже, сделай так, чтоб и дома мне не приходилось играть. Не заставляй меня произносить тот зазубренный текст, которого ждут от меня. Дай мне сказать те слова, которые я не могу произнести никогда, нигде, никому, «я голодна», «хочу спать», «ты мне противен» — вот мои слова, они, как неodeванные в этой жизни платья, последуют за мной. Здесь они никому не нужны. А там только голоса, слов нет, там слов никто не понимает. «Помоги, Господи!» — на коленях молилась я на сцене, даже не зная, как говорить с Богом своими словами.

МАРИЯ — Не гневите Бога...

АНАСТАСИЯ — Так было, собака.

МАРИЯ — Гав! Гав! Гав!

АНАСТАСИЯ — Так и было, говорю тебе.



МАРИЯ — Вот за такие разговоры я и боготворила вас!

АНАСТАСИЯ — Ты меня боготворила?

МАРИЯ — Вы этого не знали? Я всегда вас боготворила, даже тогда, когда ненавидела. А ненавидела всегда, всегда, всю жизнь, даже почти до моего появления на свет, даже до знакомства с вами.

АНАСТАСИЯ — Что? Что?

МАРИЯ — Вы что, не слушаете меня?

АНАСТАСИЯ — А ты разве что-то говорила?

МАРИЯ — Ничего... Нет, ничего...

АНАСТАСИЯ — Как только решишь помолиться, обратиться к Богу, тебе сразу готовый текст суют, чужие слова. Между нами и Богом вечно кто-то стоит.

МАРИЯ — Говорю, не богохульствуйте!

АНАСТАСИЯ — И вот в один прекрасный день человек обнаруживает, что постарел. Вот и ты сказала, что я постарела!

МАРИЯ — Я этого не говорила!

АНАСТАСИЯ — Пусть никто не смеет говорить со мной о старости, не время еще! Мы с тобой сейчас, как бейрутские террористы, включены в борьбу. Может, это в нас стреляют, кто знает. Вон, ведь это наше окно пробито пулей. Значит, мы кому-то помогаем, или кому-то мешаем, мы боремся, представляешь?

МАРИЯ — Что вы лезете в политику, надо же когда-нибудь научиться уму-разуму, не нашего это ума дело — политика!

АНАСТАСИЯ — Это что, политика?

МАРИЯ — А вы как думаете?

АНАСТАСИЯ — А по-моему, это недоразумение. Большое, всеобщее недоразумение. Всеобщее обезьяничанье. Зоологический абсурд. Так что... (После паузы) Может, и в нас стреляют, с нами воюют. Между прочим, на это есть причины...

МАРИЯ — Причины? Ну что вы, кому мы мешаем?

АНАСТАСИЯ — А ты ничего не припоминаешь?

МАРИЯ — Что я могу припомнить? (Качает головой) Нашли тоже революционера!

АНАСТАСИЯ — Между прочим, точно так же качали головой за спиной моей матери, сожалея, что



такая милая женщина тронулась, но нет, я не сумасшедшая...

МАРИЯ — О чем вы говорите?

АНАСТАСИЯ — К сожалению...

МАРИЯ — И не думала...

АНАСТАСИЯ — А было бы лучше быть сумасшедшей. Только сумасшедшие счастливы на этом свете. Хоть я и не знала, что такое счастье, но хотела, чтоб оно длилось вечно. Ничто не приносило мне радости, не говоря о счастье, ни замужество, притом троекратное, троекратное! Ни сын, ни чья-то смерть!

МАРИЯ — Мама?!

АНАСТАСИЯ — Да, смерть... чего ты вздрогнула?

МАРИЯ — Не говорите так. Так может говорить только злой человек. Вы не злая.

АНАСТАСИЯ — Да, я не злая потому, что никогда не была счастлива. Я не злая и не добрая. Для доброты нужна хоть капля счастья... Я и не сумасшедшая... И я не любила тебя никогда.

МАРИЯ — Знаю.

АНАСТАСИЯ — Я возненавидела тебя с самого начала.

МАРИЯ — Знаю.

АНАСТАСИЯ — Хотелось бы, чтоб все было наоборот: ты — моя свекровь, я — твоя невестка. Я показала бы тебе, как должна обходиться настоящая невестка со свекровью.

МАРИЯ — Разве я плохо с вами обхожусь? Я себя не жалею. И кроме вас, у меня и забот нет. Вы для меня и муж, и сын, и внук...

АНАСТАСИЯ — Замолчи!

МАРИЯ — Почему я должна молчать?

АНАСТАСИЯ — Замолчи, говорю...

МАРИЯ — Хорошо, замолчу, раз вы того желаете.

АНАСТАСИЯ — (После паузы) С удовольствием выпила бы чего-нибудь...

МАРИЯ — Валокордин?

АНАСТАСИЯ — Нет.

МАРИЯ — Кордиамин?

АНАСТАСИЯ — Нет, нет и нет!

МАРИЯ — Тогда скажите — что...

АНАСТАСИЯ — Скажем, вина...

МАРИЯ — Ого!



АНАСТАСИЯ — Или коньяк...

МАРИЯ — Да ладно вам.

АНАСТАСИЯ — Хотя бы яду.

МАРИЯ — Ха-ха-ха!

АНАСТАСИЯ — Чего смеешься, кряка?

МАРИЯ — Не могу вас понять, то я собака, то я кряка!

АНАСТАСИЯ — Дорогая Мария, как раз об этом я и плачу, в человеческом обществе — явный зоологический бум, не замечаешь? Впрочем, этого никто не замечает. Человек-обезьяна гораздо грязнее и страшнее, чем сама обезьяна, которую я на дух не переношу, хорошо, что она живет отдельно, сама по себе, я — тоже. Но что делать с людьми-обезьянами, куда от них скрыться, почему я должна жить с ними в одной клетке!

МАРИЯ — (Со смехом) От меня не спрячетесь.

АНАСТАСИЯ — Как-то надо умудриться жить обособленно, что-то надо придумать, сочинить какую-то легенду, потом поверить в нее, в то, что все придуманное произошло на самом деле. Рассказать самой себе все это несколько раз. Трудно, когда человеку нечего рассказать себе. Один французский писатель говорил, люблю философствующих французов, если человек жил настоящей жизнью хотя бы один день, то он может выдержать 100 лет тюремного одиночества. Т. е. может без конца рассказывать себе об этом дне своей жизни. А я живу целых 100 лет, ни злая, ни добрая, но живу, понимаешь? Прислушайся к этому слову — живу! Повторить? Пожалуйста, повторю, в твоём возрасте человек становится тутим на ухо, живу, жи-ву!

МАРИЯ — Вы все время рассказываете, а я запоминаю. Уже наизусть все знаю, а вы все повторяете и повторяете...

АНАСТАСИЯ — И что же ты выучила наизусть?

МАРИЯ — Все! Так что я и в самом деле могу быть вашей свекровью.

АНАСТАСИЯ — Моей свекровью?

МАРИЯ — Разве вы сами этого не желали, сказали же, что с самого начала хотели, чтобы это было так?



АНАСТАСИЯ — Значит, я все время повторяю одно и то же?

МАРИЯ — Да, приблизительно так... Но все очень интересно.

АНАСТАСИЯ — Одной и той же истории не бывает.

МАРИЯ — Давайте, я на время стану вашей свекровью, и сами убедитесь... Начинать?

АНАСТАСИЯ — Быть не может. Истории, как люди, или мельчают или разрастаются... Ну, ладно, начинай, только я могу подзабыть свою роль.

МАРИЯ — Я вам напомню... Вот, например, про террориста! Рассказать?

АНАСТАСИЯ — Ну что делать, давай, рассказывай...

МАРИЯ — (Патетично, подражая свекрови) Слушай, глупенькая собачка!

АНАСТАСИЯ — Что я должна ответить?

МАРИЯ — А я как отвечаю?

АНАСТАСИЯ — Не дождешься!

МАРИЯ — Отвечай, собака!

АНАСТАСИЯ — (После некоторого колебания) Гав! Гав! Гав!

МАРИЯ — Итак — «Террорист из рая»...

АНАСТАСИЯ — Ого!

МАРИЯ — Молчи, собака!

АНАСТАСИЯ — Гав! Гав!

МАРИЯ — Маленький, лысый человечек. Все на нем куцо: не пиджак — а пиджачок, не жилет — а жилетик, не брюки — а брючки. Не расставался с бабочкой в горошек, хотя дома ходил босой. Я и сейчас помню его громадный, желтый, как бутылочная пробка, большой палец... (Измененным голосом) Сколько лет я рассказываю ваши истории вместо вас...

АНАСТАСИЯ — Можно мне сказать?

МАРИЯ — Говори!

АНАСТАСИЯ — Но не лаем!

МАРИЯ — Ладно, давай!

АНАСТАСИЯ — Это происходит потому, что тебе самой нечего рассказывать, а если и есть, то это рассказать невозможно.

МАРИЯ — Что вы хотите этим сказать?



АНАСТАСИЯ — Ничего не хочу. Просто, сказала и все.

МАРИЯ — Собака!

АНАСТАСИЯ — Гав! Гав! Убийцы плохие рассказчики.

МАРИЯ — Убийцы? Что убийцам здесь делать? (Проводит рукой) В этом раю!

АНАСТАСИЯ — Где-е-е? В раю? Все думала, как зовут нашу обитель. Видимо, это я назвала ее так и не помню.

МАРИЯ — Нет, это не вы ее так называли, это единственное слово, которое принадлежит мне. Нравится? Разве не в раю мы живем, идеальная пара — свекровь и невестка. Они рождены для взаимной любви, два существа, которым жизнь осточертела, ни злые, ни добрые, осужденные жить в раю. Разве дядя Бикфорд тоже не из рая?

АНАСТАСИЯ — (Играет) Не волнуйтесь, мама, успокойтесь, гав! Гав! Гав!

МАРИЯ — Да, он был из рая. Бабушка звала раем нашу деревню, а дядя Бикфорд был из нашего села. Он поднимал указательный палец и говорил: «Ждите!» И мы, маленькие девочки, я, Софа, Оля, видели во сне, как летел к нам, лениво помахивая крыльями, добрый усатый дядя. Дети, дети, слышался голос дяди Бикфорда, он поэт всех времен и народов и всех детей, самый нежный лирик, друг фиалок, роз и соловьев, явленный с неба ангел добра, прокладывающий каналы в пустыне, дающий убежище бездомным.

АНАСТАСИЯ — (Задумчиво) Этот сон я рассказала японскому инженеру, когда он, коротая ночи на полу, как собака, ухаживал за мной, обессиленной от тифа, и которого я любила за то, что он был просто человеком, в отличие от дяди Бикфорда, который убил моего отца, давшего ему убежище, в подъезде, во время прощания, по его словам, потому что тот мог невольно выдать «партийную тайну», т. е. его местонахождение... Японец сказал мне, что дети, так же, как и животные, предчувствуют землетрясение...

МАРИЯ — (Играет) Может, потому я и не умерла до сих пор, что до конца осталась ребенком. Я, как ребенок, ни злая, ни добрая, я только жестокая, как



ребенок, который не понимает, что такое жестокость. Ну что смотришь? Впервые слышишь все это?

АНАСТАСИЯ — (Очнувшись, с улыбкой) Да, впервые слышу...

МАРИЯ — О, как ты коварна!

АНАСТАСИЯ — (Играет) Мама?

МАРИЯ — Леди Макбет! (Неожиданно, как бы теряя самообладание) Вы же это хотели сказать мне, скажите, ведь хотели?

АНАСТАСИЯ — Как ответить, словами или лаем?

МАРИЯ — (Кричит) Лаем, собака, лаем!

АНАСТАСИЯ — (Несколько оробев) Гав! Гав! Гав!

МАРИЯ — Весь день ходите вокруг да около, все никак не решитесь сказать. Удивляюсь вашей сдержанности.

АНАСТАСИЯ — Сама скажу все, что хочу сказать, не нуждаюсь в твоей помощи. Никто ни в чем мне никогда не помогал, кроме того дурака японца, который спас меня от смерти. Точнее, он думал, что помог мне. Я никому не должна. Потому ни к кому не испытываю ни любви, ни ненависти. Значит, я должна была назвать тебя леди Макбет? Интересно...

МАРИЯ — (Несколько оробев) Разве мы не играем больше?

АНАСТАСИЯ — Во что?

МАРИЯ — В свекровь-невестку наоборот!

АНАСТАСИЯ — Не замечаешь, что ты давно играешь в это одна? К тому же эта игра явно не по мне.

МАРИЯ — Что, расхотелось лаять?

АНАСТАСИЯ — Хотя бы...

МАРИЯ — Двадцать лет ты мучаешь меня...

АНАСТАСИЯ — Мучаю? Но...

МАРИЯ — Мы не нисходим до авторов ниже Шекспира, сравнения у нас тоже достойны великого поэта, угрюмая муза трагедии смотрит на нас. А я не рождена для трагедии. В этой вашей трагедии я оказалась случайно, случайно забредший на сцену прохожий, чужой, обыватель, рядовой гражданин. Нельзя же войти в трагедию, как в гастроном!

АНАСТАСИЯ — Бедненькая...

МАРИЯ — Да, бедненькая! Что вам до этого, вас-то что беспокоит?

АНАСТАСИЯ — Как раз это и беспокоит, что ты



жалкая... Жалкий человек всех беспокоит на свете. Но, извините, пусть никто не обольщается! Я знаю, что скрывается за этой показной убогостью! Пусть и не пытаются утешить тебя, погладить по голове — руку откусишь, руку, ласкающую тебя!

МАРИЯ — (Искренне обеспокоенная) Успокойтесь, мама! Вот, выпейте это. (Наливает капли) Вам нельзя так волноваться. Выпейте, выпейте. Кому говорю! (Почти насильно заставляет выпить).

АНАСТАСИЯ — Фу! Никак не могу привыкнуть к этой гадости...

МАРИЯ — (Со смехом) Мельпомена!

АНАСТАСИЯ — У моего мужа, того, что меня Мельпоменой звал, был лоб Спинозы и стальной подбородок. С колокольчиком в руках он пас всех, как библейский пророк — овец. Господи, думала я, этого человека скоро не станет, он не может жить долго...

МАРИЯ — Это первый муж?

АНАСТАСИЯ — Нет, первый всего несколько часов был моим мужем. Почему-то мне кажется, это вообще было сном. Обвенчались в Кашуэти, поспешно, суматошно, как будто куда-то бежали, спешили за границу, вроде нашего правительства. Но куда спешишь, дура, на пороге — рок... Прямо из церкви он убежал на войну, уже проигранную войну, и погиб... Около Коджори. Мы были ровесниками... Боже, упокой его душу... Помню его чуб и руки... больше ничего... Да, еще голос, вижу его голос — петушок на заборе. И вдруг колокол, как ветер, сдувает меня, плачущую, с постели и, о чудо, залетаю прямо на сцену, беспомощная как соломинка... А колокол звонит, звонит, и я назубок, шаря глазами, потрясенная ужасающим, не до конца осознанным значением слов, повторяю: «И рука все еще пахнет кровью. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки! О, о, о!»

МАРИЯ — Я эти слова наизусть знаю. Двадцать лет вбиваете мне их в голову, каждый день, как игуменья — дурочке-монашенке.

АНАСТАСИЯ — Ну-ка повтори!

МАРИЯ — И у меня сердце заходило от страха. Меня так легко испугать!



АНАСТАСИЯ — Ах, не заставляй меня плакать, прошу!

МАРИЯ — «И рука все еще пахнет кровью!»

АНАСТАСИЯ — О, о, о...

МАРИЯ — «Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки!»

АНАСТАСИЯ — О, о, о...

МАРИЯ — «...не отобьют этого запаха...»

АНАСТАСИЯ --- О, о, о, повторяй за мной!

МАРИЯ — О, о, о...

АНАСТАСИЯ — Теперь вместе! О, о, о... (Обе) О, о, о...

МАРИЯ — Вот как раз этого стога и боюсь, других слов — нет. Никогда не слышала подобного стога.

АНАСТАСИЯ — А я часто слышала.

МАРИЯ — Где?

АНАСТАСИЯ — У нас, в этом раю! Ты стонешь так во сне, ты терзаешься в тисках этих стонов.

МАРИЯ — Нет, вы меня не затащите на сцену, я свою роль закончила. Я рождена статисткой, жиличкой ремарки трагедии, мое место в клетке петитов, и очень хорошо, очень, я довольна своей участью. А вы, Боже мой, пророк, овцы, библия! Когда это вы помнили своего мужа, что это именно сегодня его вспомнили. Вы ведь давно уже путаете их между собой, давно уже у всех троих лицо японского политзаключенного. Шевелюра, как у итальянского дирижера, была не у первого, а у второго со стальным подбородком. Но вы его вспомнили не просто так. Вы не по сцене соскучились, нет, вы по крови тоскуете! «И рука все еще пахнет кровью. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки! О, о, о!»

АНАСТАСИЯ — (Качает головой) О, о, о!

МАРИЯ — (Протягивает руки) Вот мои руки, они чистые, чистые...

АНАСТАСИЯ — (Качает головой) О, о, о!

МАРИЯ — Кровь никогда их не касалась...

АНАСТАСИЯ — (Качает головой) О, о, о!

МАРИЯ — Они чисты, как только что выкупанный новорожденный! Между прочим, из ваших трех мужей самый близкий мне — тот, с колокольчиком, грозный пророк, мой свекр! Несчастье не в том, что его,



полного жизни, талантливое, расстреляли, а в том, что пророк превратился в раба Манон Леско!

АНАСТАСИЯ — Ого! Манон Леско! Вот это мне нравится.

МАРИЯ — Руки у него были только для того, чтобы ласкать вас, глаза — чтобы видеть вас, уши, чтобы слышать вас, зубы, чтобы съесть вас. И так, постепенно он уменьшался и таял, как лавина. Нет на свете более беспомощного существа, чем влюбленный пророк...

АНАСТАСИЯ — Между прочим, мы и в Америку собирались. (Смеется).

МАРИЯ — Да, он на Бродвее видел не гастрольную афишу своего театра, а освещенную эстраду бара, где вы танцевали чарльстон с набриолиненными неграми.

АНАСТАСИЯ — Давай, станцуем чарльстон, прошу! Станцуем, и я никогда ничего не напомню тебе. Вообще онемею, похороню в своем сердце тайну.

МАРИЯ — Мама, я замечая, вы всерьез подозреваете что-то. Не знаю, где начинается и где кончается ваш театр, когда вы играете, а когда нет, когда говорите чужие, а когда свои слова.

АНАСТАСИЯ — Никогда, повторяю тебе, никогда я не произношу своих слов, только чужие. Но могу вспомнить и свои собственные, и как раз в связи с твоей тайной.

МАРИЯ — Знаете, я и вправду боюсь.

АНАСТАСИЯ — Думаешь, я сошла с ума?

МАРИЯ — Нет, но...

АНАСТАСИЯ — Между прочим, у меня плохая наследственность. Но, к сожалению, уже поздно. Какое было бы счастье сойти с ума тогда, когда жизнь требовала от меня ответов за содеянное не мною. Как будто это была не моя жизнь. В другом месте, другие люди решали мою судьбу, а я была в ответе. Для чего? Ради чего? Почему? Жизнь сложилась так, что я умирала и воскресала несколько раз... И никто у меня не спрашивал, хотела ли я умирать, а тем более воскресать. Как ни странно, эти маленькие смерти и были моим убежищем, там я переводила дух, зализывала раны, вроде собаки, гав, гав! Вот и сейчас, пять минут назад, я еще раз умерла — услышала звук ко-



локольчика, увидела отару овец и постаревшего, обездоленного обмотанного женской шалью пророка. Он куда-то с трудом тащился, прихрамывая, опираясь на костыли. Я была не мертвой, нет, а расстеленной по земле легко и беззаботно, как снег, и никого, никого не винила в своей смерти, тем более, что меня впервые осенило — это была простая случайность...

МАРИЯ — Какая случайность?

АНАСТАСИЯ — То, что я родилась на этот свет.

МАРИЯ — Неужели я вам сделала так больно! Сколько раз просила вас, не обращайтесь внимания на мою глупую болтовню, сколько просила, намекала, и кстати, разве не вы сами втянули меня в эту игру, уже сколько времени мы играем! Господи! А я-то думала, если бы не эта игра, мы бы погибли.

АНАСТАСИЯ — А сейчас мы, по-твоему, спасены?

МАРИЯ — Во всяком случае, существуем, живы пока...

АНАСТАСИЯ — В том-то и беда! Я не могу привыкнуть к своей жизни, жизнь и существование у меня не совпадают, поэтому и мучаюсь. Нет, ты ни при чем... ты, жалкое существо. Тебя тоже Бог здорово наказал, что может быть ужаснее жизни с состарившейся актрисой. Мы актеры, голубка моя, люди пустые и вздорные, вроде церковной колокольни. Там звонит один-единственный звонок, к началу спектакля, и только. Вот мне скоро стукнет 100 лет, а я каждое утро просыпаюсь с надеждой, что какой-нибудь режиссер вспомнит обо мне и предложит роль, все равно какую, хотя бы Джульетты. Не смейся, я уверена, что была бы хорошей Джульеттой. Эта роль написана для столетней женщины. Но тебе этого не понять. Я согласна и на роль ящерицы. Да, да, ящерицы! Я тебе изображу ее, если хочешь. Ну-ка, дай мне ту зеленую шаль. Видишь? Вот это ящерица, кстати, мой зуб мне поможет. Вот так бьется ее зуб. Хотя, лучше бы мне предложили роль крокодила, все-таки мне уже 100 лет. Лишь бы была роль, увидеть свою фамилию в списках распределения ролей, вот о чем я мечтаю.

МАРИЯ — Впервые вижу, чтобы женщина прибавляла себе годы!



АНАСТАСИЯ — А я в таком возрасте, когда годы потеряли значение. Странно, почему мне сегодня вспоминаются мои бедные мужья. Вроде они были забыты, и все шло нормально. Если уважаешь покойника, не вспоминай его... Мой третий муж, или последыш, был ничтожеством, если это слово можно употребить в хорошем смысле. Я познакомилась с ним, вернувшись с острова. Он ухаживал за мной, холил, нежил. Это его заслуга, что наш дом превратился в музей, и мы стали его сотрудниками. Почему-то он мне напоминал зонтик, не смейся — хочешь раскроешь, хочешь закроешь, хочешь повесишь на руку, хочешь забросишь на полку... Что такое человек — куль, полный боли, обвязанный канатом страха... Он боялся всего, дрожал. Узнав о чьем-то аресте, сам укладывал сумку, думал, что за ним тоже придут, заберут. Кому он был нужен! По-моему, это у него началось после женитьбы на мне. Он был патологическим трусом. Когда русские танки ворвались в Венгрию, он думал, что на него все свалят... Этот страх и доконал его... Член президиума Союза писателей, обласканный правительством, все время только это и повторял: мне устраивают провокацию, провокацию устраивают. Только у нас возможно быть бездарным поэтом... Упокой Господь его душу! А так он был ничего, никому не мешал, кроме как самому себе. Перед смертью выворотил все ящички, собрал все бумаги и сжег на балконе, в ведре. Сам же сторожил, чтоб не было пожара. Я заинтересовалась, что же он сжигает. А ничего — мусор! Квитанции, оригиналы опубликованных стихов. Неопубликованных у него и не было. Улизнул из этого мира, как обанкротившийся банкир... Он любил старинные вещи, брал мамин стакан и часами рассматривал...

МАРИЯ — Мама, извините, но это делал мой муж, часами разглядывал стакан.

АНАСТАСИЯ — Твой муж?

МАРИЯ — Да, это он любил старинные вещи.

АНАСТАСИЯ — Который муж?

МАРИЯ — Не ваш сын, второй...

АНАСТАСИЯ — (Оживившись, потирая руки) Ну вот, давай теперь поговорим о твоих мужьях!

МАРИЯ — Не надо...

АНАСТАСИЯ — О, какая ты скромница.



МАРИЯ — Куда уж моим мужьям до ваших.

АНАСТАСИЯ — «Никакие ароматы Аравии...»

МАРИЯ — Началось!

АНАСТАСИЯ — «...не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки...»

МАРИЯ — О, о, о...

АНАСТАСИЯ — «Нет месяца! И целы башмаки  
В которых шла в слезах, как Ниобея,  
За отчим гробом...»

МАРИЯ — Предупреждаю, это из другой трагедии.

АНАСТАСИЯ — Как смычок скрипки смыкает  
разные звуки, так Бог объединяет все трагедии в одну,  
чтоб обрушить на наши грешные головы.

МАРИЯ — О-о, не могу уже слышать чужих слов.

АНАСТАСИЯ — Это не чужие слова.

МАРИЯ — Чужие, чужие, чужие! Чужие слова  
вызывают все несчастья в мире, заставляют отца уби-  
вать сына...

АНАСТАСИЯ — Жену — мужа!

МАРИЯ — (Надтреснутым голосом) Хотя бы...  
(Более смело) мать — сына!

АНАСТАСИЯ — (Оробев) Нет, не говори этого!

МАРИЯ — Чужие слова науськивают людей друг  
на друга. Злые, взбешенные, со звериным оскалом, они  
нападают друг на друга... видели вы когда-нибудь со-  
бачий бой?

АНАСТАСИЯ — Гав, гав, гав.

МАРИЯ — Это тоже чужое! Слова жалкой, убо-  
гой собачки, а мы, нищие духом, духовно изголодав-  
шиеся, вырываем их друг у друга, как куски мяса...  
Чужими словами мы обманываем себя, чужими сло-  
вами любим, чужими словами ненавидим...

АНАСТАСИЯ — Почему ты так злишься?

МАРИЯ — Разве не вы сказали, не существует  
моего «я голодна», моего «хочу спать», моего «ты мне  
противен»? У меня тоже с рождения нет собственных  
слов, их отрезали, как пуповину, и куда-то выбросили.  
Теперь я только ваши слова повторяю.

АНАСТАСИЯ — Ты сейчас свекровь или невестка?

МАРИЯ — Шутить изволите?

АНАСТАСИЯ — Нет, мне интересно. Знаешь, ино-  
гда кажется, что я и вправду твоя невестка, а ты —



моя свекровь... Помнишь, что творилось с твоим вторым мужем, когда он менял веру?

МАРИЯ — (Некоторое время молча, внимательно смотрит на нее. Постепенно лицо у нее проясняется. Неожиданно весело, громко, от всего сердца смеется). Ха-ха-ха...

АНАСТАСИЯ — Помнишь?

МАРИЯ — (Со смехом) Ну и вспомнили! «Он вошел в синагогу» — это тоже из какой-то трагедии.

АНАСТАСИЯ — Я же сказала, все трагедии объединились у нас! Да, вспомнила — твой муж, а не мой, разглядывал стакан часами. Потом я тоже брала в руки этот стакан, тоже рассматривала долго, желая узнать, о чем он думал в это время. Угадывать чужие мысли — моя профессия, другого ничего не умею.

МАРИЯ — (Успокоившись, но не совсем, со смехом) Помните, как он засуетился, как только услышал, что евреи выезжают из Грузии! Начал собирать фальшивые справки, якобы он тоже еврей. По-моему, даже обрезание совершил, хотя мне и не сказал ничего, постеснялся почему-то. Умолял говорить, что он еврей. Помните, меня вызывали в Чека? Если бы не вы, я бы и не пошла туда. «Девушка, а правда, что твой муж жид?» — спросил следователь, молодой дарный. Я рассказывала вам, помните? Еле удержалась, чтоб не дать ему по морде. «А ты почему не следуешь за своим мужем?» А второй как начал бить себя в грудь — эх, будь я на твоём месте! Потом я пошла провожать его. Между прочим, вы меня попросили об этом. И стар и млад на коленях, со слезами целовали асфальт, прощались. Своего мужа я увидела издали — он тоже орошал горячими слезами землю. Сколько раз рассказываю одно и то же и каждый раз смех меня разбирает. Подхожу к нему и спрашиваю: Моисей, на самом-то деле его Ладо звали, если тебе так дорога эта земля, почему уезжаешь-то? А он — Сара, драгоценная, родина меня зовет...

АНАСТАСИЯ — Сара?

МАРИЯ — Разве я вам не говорила? Сарой назвал!.. Говорят, угодил в сумасшедший дом в Иерусалиме. Сидит у окна, Моисей...

АНАСТАСИЯ — Этого я не знала.

МАРИЯ — Чего вы не знали?





ЭЛН 135920  
382.001.013.33

АНАСТАСИЯ — Что он в психушке.

МАРИЯ — Да, психушка везде психушка.

АНАСТАСИЯ — Не обижайся, но он был каким-то смешным. Туфли будто семенили за ним, как дрессированные крысы...

МАРИЯ — Почему я за него вышла, да?

АНАСТАСИЯ — Я этого не спрашивала.

МАРИЯ — Испугалась я.

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) Испугалась остаться со мной наедине?

МАРИЯ — Может быть... не знаю... да, испугалась остаться с вами наедине. (Вдруг на улице начинается страшная стрельба) Ложитесь, быстро, ложитесь (Обе ложатся на пол. Стрельба продолжается).

### Конец 1-го действия

## II ДЕЙСТВИЕ

Между I и II действиями прошло почти полчаса. Слышны только единичные выстрелы. Женщины все еще лежат на полу.

АНАСТАСИЯ — (Со смехом в голосе) Мария, Мария...

МАРИЯ — Что такое, мама?

АНАСТАСИЯ — По-моему, стрельба поутихла...

МАРИЯ — И это вас смешит?

АНАСТАСИЯ — Руки и ноги так затекли, что не могу их различить, вот что меня смешит. Я превратилась в четырехногое или четырехрукое существо.

МАРИЯ — Да, очень смешно...

АНАСТАСИЯ — Мария, Мария...

МАРИЯ — Что изволите, мама?

АНАСТАСИЯ — Не опасно ли лежать вот так?

МАРИЯ — Почему же это опасно?

АНАСТАСИЯ — Скажем, открывается дверь и врываются два головореза, куда нам деваться тогда?

МАРИЯ — Нужны мы им, Господи...

АНАСТАСИЯ — Это ты так думаешь!

МАРИЯ — Эта баба меня с ума сведет!

АНАСТАСИЯ — Что-о? Я не ослышалась, ты меня бабой назвала?



МАРИЯ — Извините, мама.

АНАСТАСИЯ — Нахалка, невоспитанная нахалка!

МАРИЯ — Я тоже человек, в конце концов, у меня тоже затекли руки-ноги, я тоже не могу их различить, я тоже дрожу от страха.

АНАСТАСИЯ — Вместо того, чтоб хныкать, лучше помоги мне встать.

МАРИЯ — Сейчас, сейчас. (С трудом встает) Я не так уж и молода (со смехом), все-таки мне семьдесят. Нет, представляете, мне семьдесят!

АНАСТАСИЯ — Умеешь ты смеяться не к месту, действительно забавно.

МАРИЯ — Да семьдесят, мне даже трудно будет сосчитать (Помогает встать). Выпрямите ноги, не бойтесь, вы же не на льду. Вот так! Ну, отпустить вас?

АНАСТАСИЯ — А ты еще не отпустила?

МАРИЯ — Вы даже не почувствовали? Какая вы неблагодарная все-таки.

АНАСТАСИЯ — Может быть, может быть я и вправду неблагодарная, но пока мы это выясним, мне кажется (прижимает обе руки к животу), мне кажется...

МАРИЯ — О-о, только не это... несу, несу горшок.


АНАСТАСИЯ — Ты хочешь посадить меня на горшок посреди музея?!

МАРИЯ — Не в первый же раз.

АНАСТАСИЯ — Нет, хватит. С сегодняшнего дня я сама буду смотреть за собой. Не нуждаюсь ни в чьей помощи. Ой, по-моему, мне и вправду плохо. (Спешно выходит).

МАРИЯ — (Вдогонку) Учтите, вода не идет (Считает на пальцах) Вода не идет, света нет, газ еле коптит, отопления не существует, радио не работает, телефон отключен, короче — настоящий рай. И какой странный сон мне вчера приснился. Рассказать ей, на смех меня подымет. Будто летела я на небо. Чего только не увидит человек! Моим спутником был ястреб, умная, сильная, спокойная, хищная птица, которую как раз из-за ума, силы и спокойствия и птицей-то не назовешь, хотя он, разумеется, птица и есть. Спрашивает у меня, кто ты, что за существо. Может, права моя свекровь насчет зоологического бума, а иначе как объяснить такой сон. Ответила: я—





человек, но он не понял. Наверное, первый раз видел человека. Он промолчал, и за это я была благодарна ему, а то как бы я объяснила этой умной птице, что за существо — человек! Потом он спросил: куда и с какой целью ты летишь? Ответила, так, безо всякой цели. И этого он не понял. А и вправду, какое живое существо будет летать в небе без цели? Он еще немного пробыл со мной, для приличия, а потом полетел своей дорогой... Главное, какое неопишное наслаждение было лететь рядом с ним! И в то же время, странно, что-то мучило меня, что-то тянуло к земле, как будто я была привязана к ней невидимой веревкой. Это и удивляло, — ведь мое место только на небе. (Во время этого монолога она снимает со стен фотографии) Скажите-ка — «Это ты так думаешь!» Все у нее Бог отнял, руку от ноги не может отличить, а все туда же! А вдруг и впрямь кто-то забредет в эту квартиру, она сама налетит на него, и что... может, этот бандит еще одним грехом отягчит свою и без того грешную душу, а потом и пыжиться начнет, смотрите, какой я молодец... Муж, видите ли, ее обожал (Смотрит на фотографию). Только его и считает мужем, этого чубастого пророка. Какие у вас глаза, сударь, как прожектора! Что могло потушить ваш взор? Ничего. Ни пуля палача, ни всеобщая анафема. Только эта баба сумела сделать это. Говорят, на репетициях, в присутствии всей труппы, он плакал, пряча голову в ее коленях, просил прощения за что-то. Мужчины ублажают своих жен, чтоб жить по-человечески и только. А этот, чубастый, и вправду стал молиться на нее, в идола превратил и до того дошел, что удивлялся, если другие так же не преклонялись перед этой старухой. Она и тогда была старухой, представляете! Из-за нее он ополчился на весь мир. А спины бывших единомышленников хуже виселицы... И я, пятнадцатилетняя девчонка, птенчик, ждала его на улице, чтобы, когда он выйдет из театра, поймать хоть на миг его взгляд. Как подсолнух тянется к солнцу, так и я, большеголовая, худущая, встав на цыпочки, высматривала своего Александра Македонского, нет — Зевса, повелителя Олимпа. А потом Бог так посмеялся надо мной, так сравнял с землей, что я стала его снохой. (Берет другую фотографию) Вот... женой



еще одного ничтожества, еще одного зонтика! «Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки! О, о, о!» Повтори, собака! «И рука все еще пахнет кровью. Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки! О, о, о!» Гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — (Возвращается) Что с тобой? Ладно без меня?

МАРИЯ — Как же я могла бы иметь ребенка?

АНАСТАСИЯ — Что, ребенка? Что ты сказала?

МАРИЯ — Ничего, ничего. Как у вас дела?

АНАСТАСИЯ — Хочу обрадовать тебя, вода пошла.

МАРИЯ — Знаю, услышала. Восприняла, как гул Ниагарского водопада, как голос жизни, как симфонию Бетховена.

АНАСТАСИЯ — (Закачалась) Ах!

МАРИЯ — Что с вами!

АНАСТАСИЯ — Дай-ка я сяду в кресло, так будет лучше.

МАРИЯ — Да, садитесь, садитесь. Отдых вам необходим после такого дела.

АНАСТАСИЯ — Испугалась я...

МАРИЯ — Со мной тоже так бывает со страха. (Усаживает ее в кресло, укрывает, усердно подтыкая одеяло со всех сторон). Сейчас грелку принесу, может, и газ прибавился, кто знает. Может, по ошибке вдруг решили, что здесь люди живут. Они же не знают, что мы живем в раю и не нуждаемся ни в газе, ни в воде, ни в свете... Ого! Вы надели серьги! Посмотрите-ка на нее! Но...

АНАСТАСИЯ — Я нашла их на полке... Бирюзовые.

МАРИЯ — Они из стекла.

АНАСТАСИЯ — А я говорю — бирюза.

МАРИЯ — Ну, ладно, пускай бирюза.

АНАСТАСИЯ — Правда они мне идут?

МАРИЯ — Тебе все идет.

АНАСТАСИЯ — (Кокетливо) Спасибо!

МАРИЯ — Не за что.

АНАСТАСИЯ — Подари мне. Подаришь?

МАРИЯ — Дарю.

АНАСТАСИЯ — О, как ты меня обрадовала. Ду-



маешь, я их нашла только сейчас? Я давно их перед зеркалом надеваю.

МАРИЯ — Они тебе и вправду идут!

АНАСТАСИЯ — А как неправду они могут идти мне?

МАРИЯ — Так, ведь женщин иногда обманывают, мол, это тебе идет!

АНАСТАСИЯ — Да, в большинстве случаев их как раз обманывают, но я надеюсь...

МАРИЯ — Я тебя не обманываю.

АНАСТАСИЯ — Ты перешла со мной на «ты»?

МАРИЯ — Ой!

АНАСТАСИЯ — С каких это пор ты со мной на «ты»?

МАРИЯ — Извините, само собой получилось...

АНАСТАСИЯ — (После паузы) Знаю, что не обманываешь, но зато завидуешь, правда ведь?

МАРИЯ — (Со смехом) Что? Я вам завидую? В чем же можно вам завидовать?

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) А что ты так кипя-тишься? Вроде грелку должна была мне принести?

МАРИЯ — Вам холодно?

АНАСТАСИЯ — Странно было бы, если б мне вдруг стало жарко в этом леднике. Так-то я тепло одета. Бедняки любят теплую одежду. (Кладет руку на живот) Опять беспокоит.

МАРИЯ — Вы очень испугались. (Выходит, через некоторое время возвращается) Поставила чайник, газ еле горит....

АНАСТАСИЯ — Ты сняла фотографии?

МАРИЯ — Да, хочу почистить.

АНАСТАСИЯ — Я же тебе сказала, не дождешься.

МАРИЯ — Чего не дождусь? Не сводите меня с ума, как вы могли подумать?

АНАСТАСИЯ — Что как я могла подумать?

МАРИЯ — Боже ты мой!

АНАСТАСИЯ — Рано, дорогая, рано еще.

МАРИЯ — (Разозлившись) Не выношу этих фотографий. Все время мечтала их снять. Все время, даже во сне, и вот сейчас сняла.

АНАСТАСИЯ — А я тебе говорила, что ненавижу себя?



МАРИЯ — Да, говорили, и я ответила: я вас тоже ненавижу.

АНАСТАСИЯ — А эти фотографии в чем провились?

МАРИЯ — Вы единственный человек на свете, кого я могла бы по-настоящему любить... Любви к своему дитя я не испытала... Единственная, кого я могла бы любить, любить безоглядно, это вы, вы, которую я так ненавижу. Вам этого не понять, я не смогу объяснить вам это. Какую ахинею я несу! (Показывая на фотографии) Из-за этих фотографий я возненавидела вас, но без них я и не встретила бы вас... Вы что-нибудь понимаете?

АНАСТАСИЯ — Дорогая моя, ничто так точно и ясно не передает намерения и мысли человека, как ахинея, которую он несет.

МАРИЯ — Это тоже чужие слова?

АНАСТАСИЯ — Нет, Мария, я уже начала говорить своими словами. Так сказать — заговорила.

МАРИЯ — Ого! Поздравляю!

АНАСТАСИЯ — Спасибо.

МАРИЯ — И что же такое случилось в туалете?

АНАСТАСИЯ — Ничего особенного, вот, сережки нашла!

МАРИЯ — Как же, нашли. Не нашли, а просто припрятали, а сейчас показали. Я эти сережки уже сколько лет ищу.

АНАСТАСИЯ — А я уже сколько лет, втайне от тебя, надеваю их в туалете и смеюсь.

МАРИЯ — Смеетесь?

АНАСТАСИЯ — Да, сережкам очень подходит смех!

МАРИЯ — Чего только от вас не услышишь!

АНАСТАСИЯ — Подожди еще! Так что напрасно ты сняла фотографии. Я не собираюсь пока умирать. Кто знает, может к этим фотографиям прибавится еще одна. Что скажешь?

МАРИЯ — Вы собираетесь замуж?

АНАСТАСИЯ — Не знаю... меня всегда страшно волновала бирюза... когда я волнуюсь, сама не знаю на что я способна.

МАРИЯ — Это не бирюза, а стекло.

АНАСТАСИЯ — И стекло меня волновало, и ка-



мень, и кирпич, железо, лист, трава, все, что я ви-  
ла или касалась рукой... и со всем этим нужно рас-  
статься, представить только.

МАРИЯ — Неужели старость так вас напугала?

АНАСТАСИЯ — Старость?

МАРИЯ — Извините, уж и не знаю, как с вами  
разговаривать, теряюсь. Иной раз такое ляпну...

АНАСТАСИЯ — Ничего плохого ты не ляпнула. Я  
просто задумалась — разве может старость напугать  
человека? Старость, дорогая, вовсе не страшна. Един-  
ственная опасность, которая угрожает человеку в этом  
возрасте, — это смерть. Но какой возраст застрахован  
от этого! Так что можно сказать — мы в зоне полной  
безопасности. Хочу задать тебе один вопрос, почему-  
то я только сегодня обратила на это внимание — ты  
не обращаешься ко мне по имени?

МАРИЯ — У вас столько имен... Я не знаю, ка-  
кое из них вам приятно.

АНАСТАСИЯ — Уж не думаешь ли ты, что до-  
ставляешь мне радость, когда величаешь меня мамой?

МАРИЯ — Я как-то привыкла... Простите.

АНАСТАСИЯ — Ты ведь зовешь меня мамой не  
только по привычке. Но запомни, столетняя женщина  
может быть моложе двадцатилетней. Время тут изме-  
ряется иначе, тут решающее совсем другое.

МАРИЯ — А что именно?

АНАСТАСИЯ — Хоть бы сережки! Ну-ка, подай  
мне это фото, похоже, ты не можешь выпустить его  
из рук.

МАРИЯ — (Подает фотографию) Пойду, взгляну  
на чайник. (Выходит).

АНАСТАСИЯ — (Держит фотографию обеими ру-  
ками, рассматривает) Удивительно...

МАРИЯ — (Входит, заворачивает грелку в шаль)  
Вот, положите на живот...

АНАСТАСИЯ — Удивительно...

МАРИЯ — (Сама кладет ей грелку на живот, по-  
правляет одеяло) Сейчас станет легче от тепла, при-  
ятнее.

АНАСТАСИЯ — Не похож ни на меня, ни на отца.

МАРИЯ — Да, на отца точно не похож.

АНАСТАСИЯ — (Сурово) Убери эту фотографию.  
(Мария кладет фотографию на стол) Очень хоро-



шо, что сняла ее, вынеси все и брось в мусорное ведро. Вот утихнет живот, я тоже тебе помогу. И сколько же их. Неужели мы всех их свели в могилу?

МАРИЯ — (Неестественно смеясь) Будет вам, мама.

АНАСТАСИЯ — (Водит рукой по воздуху) Стемнело...

МАРИЯ — Да, зимой рано темнеет.

АНАСТАСИЯ — Не люблю зиму...

МАРИЯ — Никто не любит зиму.

АНАСТАСИЯ — Стемнело...

МАРИЯ — Зима...

АНАСТАСИЯ — В темноте их лучше видно...

МАРИЯ — Кого?

АНАСТАСИЯ — Вот они, вот...

МАРИЯ — Мама, что с вами? Покажите руки! Как они замерзли! Кого вы видите в темноте?

АНАСТАСИЯ — Как стемнело...

МАРИЯ — Мама, мама, что с вами?

АНАСТАСИЯ — Не люблю зиму...

МАРИЯ — (Хватает ее за плечо, трясет) Вы заснули?

АНАСТАСИЯ — Да, вздремнула, приятно стало от тепла... О чем мы говорили?

МАРИЯ — А ни о чем.

АНАСТАСИЯ — Как же, о чем-то мы сладко беседовали... Всех мы уничтожили... Считали трофеи или делили... Хотя нечего делить, кроме воспоминаний. У других и этого нет. Знаешь, о чем я сейчас подумала? И почему-то мне это показалось значительным — мой муж был гордый...

МАРИЯ — Который из них?

АНАСТАСИЯ — (Через некоторое время) Все трое... Да, все трое. Хотя бы потому, что ни одного из них нет в живых.

МАРИЯ — И поэт был гордым?

АНАСТАСИЯ — Представь, и он! Но мой сын, то есть твой муж, вовсе не был гордым... Хочешь, скажу, на кого он похож на этом фото и вообще в жизни?

МАРИЯ — (Посмотрела на фото) Не думаю, чтоб он вообще был похож на кого-нибудь.

АНАСТАСИЯ — На тебя, на тебя он похож, не



замечала разве? Как будто он не мой, а твой сын! А может, так оно и есть, может... не знаю.

МАРИЯ — Ну что вы говорите, что за ужас! Как же это можно! Нельзя же говорить все, что придет на ум! Или вы напоминаете мне о том, что я была старше него на 10 лет?

АНАСТАСИЯ — Напоминаю? Разве это можно забыть?

МАРИЯ — Почему бы и нет? Разве вы помните все?

АНАСТАСИЯ — Безусловно.

МАРИЯ — Все-все?

АНАСТАСИЯ — Да, именно.

МАРИЯ — И что дальше?

АНАСТАСИЯ — Что — дальше?

МАРИЯ — Разве это первый случай, разве такого еще не было? Я не могла ему отказать, просто вынуждена была согласиться. Он на коленях умолял меня.

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) Все алкаши — артисты!

МАРИЯ — Да, да, умолял выйти за него замуж. Вы меня, что, дурой считаете? Никто не хочет стать членом несчастной семьи. Простите, что говорю это, но вы сами напросились... Да, никто не хочет... Когда я впервые вошла сюда, мне показалось, что вся квартира полна привидений.

АНАСТАСИЯ — Совсем как в трагедии, да?

МАРИЯ — (Через некоторое время, после паузы) Ночами в страхе вскакивала с кровати...

АНАСТАСИЯ — «Никакие ароматы Аравии...»

МАРИЯ — Из вашей комнаты слышалось бормотание вашего нового мужа, т. е. поэта, наверное, стихи писал...

АНАСТАСИЯ — А мне его бормотание вовсе не мешало спать, напротив, убаюкивало, как журчание ручейка. (Со смехом) Наверное, потому что и стихи были как вода.

МАРИЯ — Да, вы всегда сладко спали, даже тогда, когда я, совсем обезумевшая то ли от сновидений, то ли от страха, вошла в ванную и увидела висевшего на крюке поэта...

АНАСТАСИЯ — Да, и тогда я сладко спала. А знаешь почему?



МАРИЯ — Я не спрашивала, почему вы спали.

АНАСТАСИЯ — А спала я сладко, потому что никакой моей вины в его смерти не было, ясно, моя милая?

МАРИЯ — (Неожиданно заплакала) Я была безнадежной старой девой, потому и согласилась...

АНАСТАСИЯ — Каждый имеет право поступить со своей жизнью так, как считает нужным. Я даже удивилась, что он воспользовался этим правом. Скажу больше — мне жалко было смотреть на него живого! Как человек может жить, если он боится жизни, если жизнь и страх для него одно и то же? Но он все-таки успел пожить, хотя бы те несколько минут, когда завязывал узел. Вот тогда он не боялся, и значит, умер счастливым. А что касается тебя, ты и до сих пор старая дева, несмотря на то, что была замужем, да еще дважды, жила в полной привидений квартире, лежала в кровавой постели...

МАРИЯ — (Кричит) Замолчи! (Затыкая уши) Замолчите!

АНАСТАСИЯ — Нынешний человек, дорогая Мария, рожден не для трагедии. Пока сегодняшней Эдип своими руками вырвет себе глаза, то есть пока дойдет до финала, он умрет от инфаркта.

МАРИЯ — Разве я похожа на его мать?

АНАСТАСИЯ — Мария, Мария, ты до сих пор не привыкла к моей манере разговора. Иногда я сама себе удивляюсь.

МАРИЯ — Будто я не знаю, почему вы играли со мной в перевертыши...

АНАСТАСИЯ — «И рука все еще пахнет кровью»...

МАРИЯ — Опять она за свое!

АНАСТАСИЯ — Поздно мне исправляться! «Никакие ароматы Аравии...» Чувствуешь, как они звучат? Нравится? Эти слова меня пьянят, кружат голову. Они затягивают меня в какой-то страшный, сладкий, пестрый туман, где я ничего не вижу и не хочу видеть, потому что здесь — частицы моего существа, мною же рожденные, мною же укрытые в этом пьянящем тумане. Как будто в центре моего существа взорвалась мина и мое тело, измельченное, изорванное, разлетелось в пространстве. Я не чувствую своей



целостности, хотя отдельные части своего тела независимо друг от друга воспринимаю, вроде как иллюстрации анатомического атласа. Мне кажется, я занимаю очень большое место в пространстве, как галактика, в недрах которой частицы моей памяти, как планеты или кометы, несутся каждая на своей орбите, движутся каждая по своему пути, хотя никакой логики, присущей другим галактикам, эта странная галактика не имеет.

МАРИЯ — Бог ты мой, сколько эта женщина может говорить!

АНАСТАСИЯ — Ты только сейчас это заметила?

МАРИЯ — Как героиня трагедии.

АНАСТАСИЯ — Болтлива, как героиня трагедии, это ты хотела сказать?

МАРИЯ — Нет, что вы, не то...

АНАСТАСИЯ — А ты хоть знаешь, что такое трагедия? Нет, конечно, говоришь не думая. Трагедия, это когда один человек умирает, а остальное человечество в ужасе. А нынче все человечество погибает, а человек как ни в чем не бывало продолжает жить. Трагедию мы превратили в фарс, и потому Бог наказывает всех, меня в том числе, и тебя тоже. Ты, как рабочий сцены, только воздвигала декорации для трагедии, а текста не знала. Разве кто-нибудь может остаться глухим к этим словам — «Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки» — если только нарочно не притворяется глухим.

МАРИЯ — Я своей ролью довольна. Благодарю Бога за эту роль. Руки у меня чистые и без ароматов Аравии, не нужны они мне. Ароматы Аравии! Ароматы Аравии! Весь дом полон ароматами, вонь стоит!

АНАСТАСИЯ — Уж лучше эта вонь, чем яд, пуля, веревка, подушка...

МАРИЯ — (Кричит) Мама! (Очнувшись, изменившимся голосом) Замолчите, мама... Устала я... (Садится на стул) Прошу...

АНАСТАСИЯ — Еще немного придется потерпеть... Сейчас я изрыгаю свою жизнь, жизнь выходит из меня с гулом, свистом, руганью, проклятием, как джин, пробывший в бутылке целый век... Освобождаюсь от жизни... Поэтому ты еще должна потерпеть.



Хочешь, не слушай меня, для себя буду говорить, кста-  
ти, я к этому привыкла.

МАРИЯ — Знаете, о чем я думаю? Вы меня не по-  
нимаете, никогда не понимали.

АНАСТАСИЯ — Ты права, очень трудно, когда  
тебя не понимают, очень больно, но еще больнее, ко-  
гда и понимать-то нечего... Я не хочу тебя обижать, и  
без того ты уже готова меня убить. Я только хочу ска-  
зать, что в наших отношениях, которые почему-то  
именно сегодня мы решили выяснить, непонятного ни-  
чего нет. Все ясно как Божий день.

МАРИЯ — (Разгневанно) Что именно ясно как  
день?

АНАСТАСИЯ — Вот, все-таки обидела...

МАРИЯ — Обидели? Вовсе нет... но... как вам ска-  
зать... не думаю. Может, по наивности, я не считаю  
все понятным. Наоборот, наша жизнь полна недоска-  
занностей, они копились годами и выросли в такую  
гору, что она погребла нас в конце концов под собой.

АНАСТАСИЯ — По-моему, и ты заговорила...

МАРИЯ — Не издевайтесь.

АНАСТАСИЯ — Правда, правда! Издеваюсь? Что  
ты, я даже не знаю, как назвать это чувство, разве  
что восхищением? Да, пожалуй, восхищение больше  
всего подходит.

МАРИЯ — Восхищение? Чем? Моими словами?

АНАСТАСИЯ — Тобой! Я, которую тысячи и ты-  
сячи завистливых, враждебных, неумолимых или вос-  
торженных, удесятеренных очками и биноклями взгля-  
дов ни на йоту не сбивали с пути, не могли заставить  
забыть, хоть на секунду, текст роли, теперь завидую  
твоему спокойствию... Хотя ты всегда, да, всегда, те-  
перь догадываюсь, была спокойна. Когда он сказал  
мне, мама, познакомься, это моя жена, как я хотела  
влепить пощечину, но не ему, а тебе! Такими чисты-  
ми, наивными глазами ты смотрела, зардевшись, точ-  
но десятиклассница. Но до сих пор мне не ясно од-  
но, что меня мучило больше всего. Может, сможешь  
хоть сейчас раскрыть тайну?

МАРИЯ — Почему он женился на мне, да?

АНАСТАСИЯ — (Через некоторое время, как буд-  
то догадливость Марии ее покорила) — Да.

МАРИЯ — Вам интересно, почему он женился на



женщине, старше его на десять лет, к тому же уродине?

АНАСТАСИЯ — Ну — уродина — это ты преувеличиваешь.

МАРИЯ — Ну, скажем, не ахти что.

АНАСТАСИЯ — Да, скажем. Если не назовем вещи своими именами, никогда до правды не докопаемся.

МАРИЯ — Все-таки так говорить нельзя.

АНАСТАСИЯ — (Неожиданно очень сурово) А положить мужу на лицо подушку и задушить можно?

МАРИЯ — Молчите! Я же предупреждала вас, не говорите про это!

АНАСТАСИЯ — Когда предупреждала?

МАРИЯ — Все время намекала вам, чтоб не говорили, не говорили про это! Все равно сказали. Используя иносказания, цитаты, афоризмы, анестезию «аравийских ароматов», пока еще жалели, как видно. Думаете, я не догадывалась, что значили ваши «ароматы»? А теперь тупым ножом прямо в сердце, в печень...

АНАСТАСИЯ — (Вскрикивает) Ах!

МАРИЯ — Да еще несколько раз с удовольствием повернули этот нож.

АНАСТАСИЯ — Я видела все. Я стояла у дверей вашей комнаты и все видела... Это старый, испытанный способ — так матери избавлялись от нежеланных детей...

МАРИЯ — Я сойду с ума, и этим все кончится. Если вы и вправду там стояли, то как же пропустили самое главное — его голос, его изорванный голос! Вы же говорите, что видите голоса! Почему же не увидели этот голос, вцепившийся мне в руки, пытавшийся отнять их от моей груди, ведь я молилась, молилась, не могла больше, не могла смотреть на то, что ежедневно видела последние шесть месяцев — как угнездившийся в его теле рак пожирал его мясо, легкие, внутренности. Только голос и оставался у него, и этим голосом он хватался за меня, тянул к себе: помоги, убей меня, убей. Невжели вы не видели этот голос? Как он молил о смерти все шесть месяцев, и действительно, только в смерти было его спасение. Боже, умоляла я, Боже, убей его, чего же ты ждешь, убей своей десницей, вель ты его явил на этот свет, как ка-



кое-то недоразумение, как глыбу страданий, которую почему-то взвалил на меня.

АНАСТАСИЯ — Или ты сама взвалила?

МАРИЯ — Замолчи... (Через некоторое время, изменившимся голосом) Меня обвиняют в его смерти... Да он и так был мертв.

АНАСТАСИЯ — Я не видела и не слышала, чтобы мертвые страдали.

МАРИЯ — Хотите, скажу правду? Единственное, что у него было человеческого в жизни — эти страдания... Так же, как у вашего мужа-поэта — минуты завязывания узла. Хотя, разве вам не все равно? Вы же его даже не замечали. Не помню, заговаривали вы с ним вообще или... нет, не могу вспомнить. Вы его как бы не видели, даже тогда, когда вместе обедали. Правда, это бывало очень редко, но все-таки... как будто его и не было... Да, он страдал, страдал, страдал...

АНАСТАСИЯ — Что ты заладила? Можно подумать, ты и впрямь сошла с ума.

МАРИЯ — Скорее вас должно удивлять, что я еще в своем уме.

АНАСТАСИЯ — Значит, ты в здравом уме и...

МАРИЯ — Да, в здравом уме и с чистой совестью я прекратила его страдания. Бог мне судья. Во всяком случае, не вы. Не видела, не встречала таких разных и отчужденных людей, какими были вы — мать и сын. Он дважды отрекся от родителей, у костра в пионерском лагере в Коджори и при поступлении в университет. Дважды...

АНАСТАСИЯ — Потому-то ты и убила его?

МАРИЯ — Я не убивала его, я же сказала, только избавила от страданий. Неужели и вправду вы меня не понимаете, как будто мы говорим на разных языках.

АНАСТАСИЯ — Одно меня удивляет больше всего — ты его так презирала и все равно вышла за него. Почему же сама обрекла себя на этот ужас? Не он первый, не он последний отрекся от родителей. Масса людей отрекалась тогда от отца, матери, брата, родственников. Это был обычный и даже примерный поступок. А интересно, кто тебе рассказал об этом, откуда ты это узнала?





МАРИЯ — Сам рассказал.

АНАСТАСИЯ — Почему?

МАРИЯ — Не знаю... рассказал, и все... ну да, я уже не могла видеть его страданий, я тоже человек, в конце концов, он просил, умолял, хрипел, звал, убей меня, убей. Вы ни разу даже не вошли к нему. Вы не знаете, какой там был ад. (Вдруг подносит руку ко рту и умолкает).

АНАСТАСИЯ — Что с тобой?

МАРИЯ — Так вы стояли у дверей нашей комнаты?

АНАСТАСИЯ — Сказала же, стояла.

МАРИЯ — Ну?

АНАСТАСИЯ — Что, ну?

МАРИЯ — Если вы там стояли... да, да... если вы видели все, почему не ворвались, не вцепились мне в руки, что вы окаменели, что же случилось? Нет, тут что-то другое. О-о, ну-ка, посмотрите на меня!

АНАСТАСИЯ — Я же смотрю.

МАРИЯ — Хорошо, хорошо посмотрите!

АНАСТАСИЯ — Вот, смотрю!

МАРИЯ — Отвечайте!

АНАСТАСИЯ — Что отвечать?

МАРИЯ — Вам что, нечего сказать? Если вы там были... Боже мой!

АНАСТАСИЯ — (Очень спокойно) Разве я говорила, что у меня руки чистые?

МАРИЯ — Вы стояли у дверей...

АНАСТАСИЯ — Разве я говорила что-нибудь подобное?

МАРИЯ — ...и спокойно наблюдали. Почему не ворвались и не остановили меня, почему? Если бы это было правдой...

АНАСТАСИЯ — Это правда!

МАРИЯ — Тогда выходит, вы мой соучастник! По всем законам нас должны судить вместе!

АНАСТАСИЯ — Ты думаешь, я не осуждена вместе с тобой?

МАРИЯ — Нас должны сжечь на костре, как ведьм... Невжели вы правда стояли там, у дверей? Нет, ничего не понимаю... Если...

АНАСТАСИЯ — Это «если» совершенно излишне. Хватит нам кривить душой. И кого нам обманывать,



перед кем мы в ответе? В общем, было так: я видела, как ты накрыла подушкой лицо своего мужа, его голые ступни чуть не выломали спинку кровати...

МАРИЯ — И вы спокойно смотрели...

АНАСТАСИЯ — Как тебе сказать... главное, я же не помешала тебе?

МАРИЯ — Нет, этого я понять никак не могу, это выше моих сил. (Плачет) Неужели вам совсем не жалко меня, неужели так меня ненавидите? Почему вы меня мучаете? В чем я перед вами виновата... сил нет, колени дрожат... что вы от меня хотите, что?

АНАСТАСИЯ — Как стало темно...

МАРИЯ — Что вы от меня хотите?

АНАСТАСИЯ — Постепенно... медленно... тяжело...

МАРИЯ — Отвечайте...

АНАСТАСИЯ — И света нет...

МАРИЯ — Я и вправду ничего плохого вам не сделала...

АНАСТАСИЯ — Как будто громадный камень давит сверху... вот-вот раздавит... Всех... (Закрывает лицо руками, после паузы, шепотом)... Ничего не вижу...

МАРИЯ — (Раздраженно) Уберите руки с лица и будьте видеть.

АНАСТАСИЯ — (Отнимает от лица руки) Надо же было додуматься! Как все легко... Хочешь закроешь глаза руками, хочешь — нет, воля твоя, но до всего надо додуматься...

МАРИЯ — Если вы все видели, почему не ворвались, почему не остановили меня, почему не спасли своего сына, ответьте?

АНАСТАСИЯ — Потому что я шла к нему с таким же намерением.

МАРИЯ — Что ты сказала?

АНАСТАСИЯ — Да. Его крик разбудил меня в полночь. Я подумала, что он один, потому и кричит так ужасно. Не думала, что ты рядом с ним. От очередного кошмара у меня, видимо, помутился рассудок, и я решила исполнить то, о чем давно уже думала — помочь своему сыну. Как будто кто-то нашептал, что это мой материнский долг. Мне же Бог не дал возможности насладиться материнством. Вместо того, чтобы сидеть у люльки, я сидела в раздолбанном автобусе, вместо того, чтобы петь колыбельную



— пела песню ведьм. Я уже сказала: одержимые счастливые люди. Ни один нормальный человек не вынесет такого счастья. Только одержимые рождены для счастья. И я, счастливая, окрыленная любовью, босиком, в ночной сорочке направилась в вашу комнату. Настоящая трагедия не любит лжи, в настоящей трагедии и смерть настоящая. Я была уверена, что ты, как всегда, на кухне, куришь свои папиросы. Но подойдя к дверям, увидела, как ты накрыла его подушкой и убила. Точнее, освободила от страданий. Сперва я хотела закричать, созвать весь мир, схватить тебя, вырвать из твоих рук моего несчастного сына, но тотчас же пришла в себя... И во мне поднялось чувство благодарности к тебе... оно чуть не задушило меня...

МАРИЯ — Что, что ты сказала, чувство благодарности? Или я ослышалась?

АНАСТАСИЯ — Я вернулась в свою постель счастливая и долго, долго прислушивалась к неожиданной тишине, заполнившей нашу квартиру... Не думай об этом, не мучай себя и не обращай внимания на мои шутки. (Со смехом) Дорогая моя, среди тех, кто умер в своей постели, убитых больше, чем умерших. Поверь старой ведьме — семья скрывает много преступлений, точнее, во имя семьи много преступлений оправдывается. В том числе, конечно, и убийство. Всех ароматов Аравии не хватит для леса окровавленных рук. Даже если пойдет дождь аравийских ароматов, все равно не хватит... Всегда ненавидела свое имя — АНАСТАСИЯ, а сегодня меня осенило: оно похоже на траву, желтоголовую, ядовитую траву.

МАРИЯ — Чему вы смеетесь?.. Боже, чего эта женщина смеется?

АНАСТАСИЯ — Между прочим, ты забыла свою роль, ну-ка, вспомни!

МАРИЯ — Не до роли мне, нашли время!

АНАСТАСИЯ — Как раз время! Как-никак я тебя затащила в трагедию. Статистка, говоришь?! Посмотрите на нее! Какая скромница, какая стыдливая! Какая к черту статистка — тебя шампунь из аравийских ароматов и тот не отмое. Радуйся, ты тоже из наших. Поздравляю! (Протягивает руку, Мария на коленях целует ее) Да, это уже настоящая трагедия!



МАРИЯ — Я всегда боготворила вас... вот и сейчас... Вы не представляете, какой камень сняли с моей души....

АНАСТАСИЯ — Да ладно тебе! Это моя профессия, больше ничего. Я каждый вечер проделывала это. Подумаешь!

МАРИЯ — (Встает) Почему-то захотелось поклониться вам.

АНАСТАСИЯ — Было бы достаточно, если бы ты похлопала мне или преподнесла цветок, хотя бы вон тот, бумажный.

МАРИЯ — Не представляете, какое я почувствовала облегчение. Все это душило меня, живьем заедало. Спасибо, спасибо, спасибо... Вот и роль свою вспомнила, гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — Отлично, малышка, отлично!

МАРИЯ — Гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — Смелее, не бойся!

МАРИЯ — Гав, гав, гав!

АНАСТАСИЯ — Вот сейчас ты настоящая Мария!

МАРИЯ — Да, сейчас я настоящая Мария... старуха...

АНАСТАСИЯ — Что ты, Мария, тебе до старости далеко! Ты еще замуж можешь выйти. Подумай, скольким старым, больным людям нужно освобождение от страданий. А ты в этом деле мастер.

МАРИЯ — ...старая и ядовитая, как ты, Анастасия! Напрасно ты думаешь, что игра окончена и мы до конца узнали правду, напрасно. Напрасно успокаиваешь себя и пытаешься меня тоже успокоить, чтоб еще больше унижить меня.

АНАСТАСИЯ — Мария?!

МАРИЯ — Да, да, чтоб еще больше унижить, сравнять с землей своей добротой, великодушием, благородством. Спасибо, сударыня, не нуждаюсь, не хочу. Во всяком случае, мне это не нужно. Какое до странности жалкое существо человек — скажешь, и у меня болит — и его боль утихает, скажешь, я тоже убийца — и он уже счастлив. Как будто самое худшее не то, что у всех что-то болит, или что все убийцы. В общем, я не нуждаюсь в вашей милости. То, что я совершила, было одновременно и преступлением, и



наказанием. Я была и убийцей и жертвой. Как тебе это объяснить...

АНАСТАСИЯ — И не надо... давай кончим об этом...

МАРИЯ — Нет, выслушайте уж до конца. Я убила не только потому, что не было никакой надежды на его спасение, а потому, что хотела убить! Но главное я забыла — он не заслуживал такой смерти. Я поступила с ним как с человеком, вот чего я не могу простить себе... Да, темнеет, темнеет, как будто мы обе оказались под могильной плитой.

АНАСТАСИЯ — Мария, Мария, иди ко мне!

МАРИЯ — Нет, не могу.

АНАСТАСИЯ — Почему, Мария?

МАРИЯ — Потому, что...

АНАСТАСИЯ — Разве недостаточно того, что мы сказали?

МАРИЯ — Кто знает, что достаточно, а что — нет...

АНАСТАСИЯ — Сегодняшнюю игру мы закончили...

МАРИЯ — Игру, может, и закончили, но...

АНАСТАСИЯ — А что не закончили, Мария?

МАРИЯ — Лаять не закончили...

АНАСТАСИЯ — Разве тебе кто-нибудь запретил лаять?

МАРИЯ — Да потеряй я дар речи, хотя бы лаем я все равно расскажу тебе то, что после стольких терзаний и сомнений решила сказать. Когда же, как не сегодня, сейчас.

АНАСТАСИЯ — Завтра, дорогая Мария, завтра же наступит все-таки.

МАРИЯ — Наступит, но для нас ли, вот вопрос.

АНАСТАСИЯ — Лично для меня наступит, даю полную гарантию, а для тебя — не знаю, ничего не могу сказать...

МАРИЯ — Потому я и спешу, хочу успеть, не хочу унести с собой эту тайну.

АНАСТАСИЯ — Я люблю Рождество, я должна его встретить.

МАРИЯ — А я уже ничего не люблю...

АНАСТАСИЯ — Замолчи! Не говори так никогда!

МАРИЯ — Как бы ты не сопротивлялась — хоть



лай, хоть свисти, хоть шипи — все равно расскажу, даже если заткнешь уши, заставлю тебя услышать... никуда не сбежишь!

АНАСТАСИЯ — Да, ты права, разве может улитка сбежать из своей раковины?

МАРИЯ — Вот и не убежишь... Нет в мире человека, которого так непосредственно касается моя тайна, нет человека, который лучше поймет меня, чем ты.

АНАСТАСИЯ — Что ты еще можешь мне сказать? Что может быть ужаснее той тайны, которая уже сказана, — ты убила моего сына и вдобавок хотела этого! Разве есть тайна ужаснее этой?

МАРИЯ — У меня неожиданно екнуло сердце, я подбежала к окну. Он стоял перед моим домом... как монумент... в своих мечтах я иначе его и не представляла, настолько он был недосыгаем для меня. Вообще мне трудно было представить его обычным, живым человеком...

АНАСТАСИЯ — (После паузы) Замолчи! Запрещаю тебе! Не продолжай!

МАРИЯ — Я сбежала по лестнице и остановилась перед ним...

АНАСТАСИЯ — Замолчи, говорю!

МАРИЯ — Он пальцем поднял мой подбородок и провел рукой по волосам...

АНАСТАСИЯ — Боже, останови эту уродку, лиши языка!

МАРИЯ — У меня было такое чувство, будто меня золотом облили... А он повернулся и пошел... Я-то думала, он меня не замечает, когда я, как подсолнух, худущая, большеголовая, на цыпочках высматривала его у дверей театра. Мне было семнадцать, и уже два года, как никого и ничего, кроме него, я не замечала. Ничего и слышать не хотела, кроме его голоса. Я была полна им, еще точнее, вами обоими. Слушала стоны восторга, удовольствия, шипение зависти, вопли, кастрированные внушения моралистов — как вы собирались прыгнуть рука об руку с Бруклинского моста, как вы хотели продать фуникулер диктатору Гаити.

АНАСТАСИЯ — (Раздраженно, с неестественным смехом) На кой черт диктатору Гаити фуникулер?



МАРИЯ — Я только знаю, что из-за этого вашу труппу не пустили на гастроли. Лихорадочно впитывала все сплетни о вас. А город полнился слухами о вашей жизни. От них сердце у меня сжималось, меня душила злоба, зависть к тебе, хотя бы потому, что тебе уже под сорок. Представь только — завидовать этому! А я, свежееперившийся птенчик, завидовала тебе всем существом своим и ненавидела себя за то, что была еще ребенком. Жизни не пожалела бы, чтобы стать сорокалетней. Завидовала даже твоему имени — АНАСТАСИЯ, думала, что нет имени лучше этого. Странная, желанная порочность сопутствовала этому имени, и такая же странная музыка — АНАСТАСИЯ — повторяла я — АНАСТАСИЯ! И пьянела от этой музыки и без того ошалевшая. О, как я тебя ненавидела, как ненавидела... Не существует ненависти большей, чем моя...

АНАСТАСИЯ — Напрасно ты размахиваешь своей ненавистью, точно флагом. Ненависть — это оправдание собственной слабости, больше ничего.

МАРИЯ — (Не слушает, продолжает) Но в то же время, а это было главным, что помогало мне сохранять равновесие над пропастью, — всем своим свежераспустившимся телом я чувствовала, что я единственная, кто может победить твой бесстыжий смех, вызывающую походку, длинные папиросы, красные ногти, оскорбительно гордые плечи, томные, как у кошки, потягивания. Увидев его у своего дома — напряженного, без шапки, с волевым подбородком, со сбитым на лоб чубом — я перекрестилась, но первая победа, к сожалению, оказалась и последней.

АНАСТАСИЯ — Слушаю тебя и удивляюсь, как хорошо ты, оказывается, умеешь говорить. Но вот если б в твоих словах была бы хоть крупица правды.

МАРИЯ — Бог свидетель, я говорю правду!

АНАСТАСИЯ — Не обижайся, но все это выдумки рано созревшей девушки, грезы возбужденной девичьей плоти. Так сказать, постельные томления.

МАРИЯ—Он пальцем поднял мой подбородок и погладил по волосам, будто золотом меня облили. Люблю, сказал...

АНАСТАСИЯ — (Вскрикивая, будто хочет прикрыть ей рот) Нет, нет! Не надо!



МАРИЯ — И поцеловал в лоб, словно клеймо поставил, в свою собственность превратил... А Бог потом так надо мной посмеялся, сравнял с землей, я стала его снохой.

АНАСТАСИЯ — Вот это уже правда, неприятная, но правда.

МАРИЯ — К счастью, твоя ирония на меня уже не действует. На мне пуленепробиваемый жилет моего долгого опыта.

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) Ты, оказывается, готовилась к войне.

МАРИЯ — В конце концов я догадалась, что человек живет только тогда, когда любит. Это Божий нам дар, но мы не всегда поступаем с ним достойно. В большинстве случаев суть этого божественного дара для нас непостижима. Может потому, что слишком многого требуем от него, даже не зная, что есть много, а что — мало. В действительности любовь проста, как все по-настоящему великое, созданное для утешения человека. (Изменившимся голосом) Теперь главное. чтобы мне хватило сил досказать все до конца...

АНАСТАСИЯ — Ты не закончила?

МАРИЯ — Нет... еще нет...

АНАСТАСИЯ — Боже великий!

МАРИЯ — Неужели ты никогда не теряешь самообладания?

АНАСТАСИЯ — Ты у меня спрашиваешь?

МАРИЯ — Неужели всегда можешь говорить не волнуясь? Готова, мол, к войне! Да, это моя война, хуже, чем война — потоп, апокалипсис, не знаю, что может быть еще хуже войны? Моя ошибка и беда в том, что я многого потребовала от него. Хотя кто поступал иначе! Не удовлетворилась тем, что любила, не смогла понять смысла этой роковой простоты. Только сейчас я это поняла, в старости...

АНАСТАСИЯ — Наверное, ужасное чувство — родиться на свет и остаться незамеченной, нелюбимой. Поэтому некоторые придумывают себе любовь...

МАРИЯ — Я же сказала — на мне бронежилет!

АНАСТАСИЯ — Поднимаю обе руки. Ты сегодня неподражаема!

МАРИЯ — Учимся, у нас хорошие учителя! Я вся дрожу. Вот руки совсем посинели.



АНАСТАСИЯ — Удивительно...

МАРИЯ — Бог посмеялся надо мной, и я стала его снохой... нет, никто в этом не виноват, я сама этого хотела. Это было результатом моего коварного, целенаправленного, упрямого желания...

АНАСТАСИЯ — Любила отца, а вышла замуж за сына, по собственному желанию! Хорошо, прекрасно...

МАРИЯ — Мне исполнилось семнадцать, и как раз в день моего рождения я узнала о его расстреле. Для меня это было больше, чем стихийное бедствие. Нормальное течение моей жизни прекратилось, или изменилось... вроде как идешь по дороге, а она вдруг проваливается в пропасть — вот так со мной и случилось. В тот день кончилась моя молодость. После этого, могу смело сказать, я все время старая, ты тоже это заметила. С этой незаживающей раной я и жила всю жизнь. Но только жизненные инстинкты все еще пульсировали во мне. И именно разрушающая логика этих инстинктов породила коварный замысел, веру юродивой в то, что его сын, который в то время ходил в первый класс, и есть тот, кто по праву наследования должен владеть мною, как феодал — землей, оставленной отцом в наследство. Он был принцем, которого я должна была ждать, чтобы предоставить ему в своем сердце престол. Наверное Бог втихомолку смеялся надо мной, потому что все произошло так, как я хотела... Только вместо принца я получила убожество, пьяницу, инструктора райкома, которого из-за пьянства перевели из райкома в нашу библиотеку. Он любил заходить ко мне, сирота, немощный, безвольный...

АНАСТАСИЯ — Ничтожество!

МАРИЯ — Я поила его молоком, он наливал его в блюдо и крошил туда хлеб... сирота казанская...

АНАСТАСИЯ — Верно, он был сиротой казанской.

МАРИЯ — Не злись так, прошу.

АНАСТАСИЯ — (Со смехом) О, Мария, Мария! Ни время, ни возраст, ни коммунисты не смогли меня убить. только тебе удалось это...

МАРИЯ — Иногда он смотрел на меня такими жалкими глазами...

АНАСТАСИЯ — Приворожила, да? Привык к тебе...



МАРИЯ — Да, привык...

АНАСТАСИЯ — Ты знала, чего ему не хватает...

МАРИЯ — Может, поэтому и привык ко мне, что другие его не выносили. И не удивительно — сын репрессированных родителей. К тому же он дважды отрекся от них. Все это знали, он сам рассказывал всем. Первое наводило на всех страх, второе — безгливость. Мать только что вернулась из Сибири. О, какие страшные вещи рассказывали о ней, т. е. о тебе... Чудовище! Первого мужа угробила в первый же день, а второго по ее же милости расстреляли. Сама десять лет провела в ссылке, там еще раз вышла замуж, теперь уже за японца. Сразу же по приезде снова вышла замуж за известного грузинского поэта, который через некоторое время повесился в ванной. А сама она вместо того, чтобы оплакивать мужа, хлестала по ночам водку и пела японские песни. Твой сын ругал тебя последними словами, называл сукой, обвинял в измене отцу...

АНАСТАСИЯ — (Задумчиво) Ты слышала когда-нибудь японскую песню?

МАРИЯ — Что? Японскую песню? ...Наверное... да, слышала...

АНАСТАСИЯ — Кто мог сказать моему несчастному сыну, что я никому не изменяла... Как мне стало холодно вдруг... Между прочим, моего отца тоже убил им же укрытый террорист...

МАРИЯ — У нас очень холодно...

АНАСТАСИЯ — Быть матерью — одно, вести себя как мать — совсем другое.

МАРИЯ — Что вы сказали?

АНАСТАСИЯ — Оказывается, ты его гораздо раньше убила, Мария!

МАРИЯ — Нет, нет, что ты! (В это время снаружи раздается сильная стрельба) Ложись, ложись скорее. (Сама быстро ложится) Ложись, говорю!

АНАСТАСИЯ — Нет, Мария... ничего со мной не случится... пуля мне уже не страшна...

МАРИЯ — Не видишь разве, мир рушится!

АНАСТАСИЯ — Хочешь, спою тебе по-японски? (Встает с кресла, расстилавает шаль на полу, становится на колени, складывает руки на груди),



Пришел его черед,  
и он сказал:  
— В последний раз цветы на моей вишне.

Тогда и снег пошел...  
А он, сложивши руки на груди,  
запел. Потом умолк...

(Поет)

Укрыло горы белым покрывалом,  
А там, в низинах, вишня расцветала,

И тоненькая полоса лазури  
Перерезала царство белизны.

И он шагнул через нее,  
как через ручеек.

(Безмолвно качается на коленях, как бы приветствуя или прощаясь с кем-то).

МАРИЯ — Мама! (Стрельба утихает) Мама! (Голова Анастасии падает на грудь).

МАРИЯ — (Встает) Мама! (Стрельба опять усиливается. Мария ищет в комнате, под столом, за ширмой. Не видит ее, т. к. Анастасии уже нет) Мама, хватит играть. Где вы спрятались? Мама, мама! Банзай! Где вы прячетесь? (Стрельба усиливается) Мама! (С плачем) Да, это были утки! (Переваливаясь по-утиному, топает по комнате) Кря-кря-кря...

К о н е ц

1993 г.

Перевод с грузинского Гулико МАРГВЕЛАНИ





**Дмитрий СААКАДЗЕ**

\* \* \*

1.

Жажду я узреть однажды,  
Как, надев зари наряд,  
Ты раскачиваешь море  
И юдоль ввергаешь в ад,  
Как словами смертных губишь,  
В речь подмешивая яд,  
И глаза лишаешь зренья,  
Устремив на них свой взгляд.

2.

От тебя хотел я скрыться,  
Ну да ты и в этот раз  
Без стрелы пронзила сердце  
Неразумное тотчас.  
Ты сплела коварства сети  
И набросила на нас.  
Кто пытался разорвать их,  
В них запутавшись, угас.

\* \* \*

1.

Мир, переменчивый и лживый,  
С игральными костями схож.  
Безумен тот, кто свято верит  
В его губительную ложь.  
Пророки мир сей обличали,  
Святой не ставил ни во грош.  
Из-за него рыдает слабый,  
Всесильного бросает в дрожь.

2.

Невежа, дурень неумный,  
Несущий несусветный вздор,  
Кичится чужью изреченной,



Не видя мудрого в упор.  
В его глазах ничтожно малы  
Мужи Платон и Пифагор.  
Где знать невеже, что солому  
Сожрет пылающий костер.

\* \* \*

1.

Кто ты, солнце, и откуда?  
Болен я тобой всерьез,  
Ослепительное чудо,  
Роза, лучшая из роз.  
Сахаром кого осыпешь,  
Как снежинками в мороз?  
Обнадежь меня, безумца,  
Отвечая на вопрос.

2.

У тебя не щеки — яхонт,  
Стан — струящийся ручей.  
Как луна, твой лик восходит,  
Проливая свет лучей.  
Мечет в грудь ресницы-стрелы  
Лук изогнутых бровей.  
Гибну я, но ты спокойна,  
Словно нет вины твоей.

3.

Цвет невиданный, желанный,  
Озаривший сад земной,  
Всем даруешь ты улыбки  
Вместе с радостью хмельной.  
Только мне — шипы да горечь,  
И улыбки — ни одной.  
Потому-то и страдаю  
За садовою стеной.

4.

Сердце к сердцу прикипело.  
Коль сумею оторвать,  
Не найду вовеки пары  
Я несчастному опять.  
Пусть с твоим пылает рядом:



Лишь оно ему под стать.  
Не гони — куда пойду я?  
Быть с тобою — благодать.



Перевод Георгия АШКИНАДЗЕ

## ГОРЬКАЯ СУДЬБА

Дмитрий Саакадзе, один из ярких представителей эмигрантской поэзии XVIII века, предположительно, родился в конце XVII века и, по-видимому, дожил до глубокой старости.

По некоторым данным, в 1734 году, ввиду тяжелой политической обстановки, создавшейся в Грузии, он был вынужден отправиться в Москву, где нашел убежище при дворе Вахтанга VI, обосновавшегося в ту пору в Москве. Здесь он становится приближенным к кругам Вахтанга VI и Бакара, а впоследствии сближается с Георгием Вахтанговичем и поэтом Дмитрием Багратиони.

Как предполагают, в 1741 году Дмитрий Саакадзе поступил на военную службу. Вероятно, первоначально он жил на Украине в местностях, выделенных для грузинских гусар, а затем уже, судя по его записям, в Москве — на Пресне и Всесвятском.

В Москве Д. Саакадзе начал заниматься литературной деятельностью, в частности, переписыванием переведенных с русского на грузинский книг. Конечно же, Дмитрия Саакадзе не следует воспринимать как простого переписчика. На полях страниц переведенных и переписанных им книг часто встречаются и короткие записи, выражающие его личное отношение к описываемому.

Стихи Дмитрий Саакадзе начал слагать уже в старости, они сохранились в единственной рукописной антологии. В них нашли отражение быт грузинских эмигрантов, противоречия, раздирающие горстку людей, волею судеб оказавшихся оторванными от родины. Неладья между грузинами больно ранили душу поэта, и он в сердцах обращался к Богу: «Господи, воздай им должное, лишив их всех радостей».

Стихи Дмитрия Саакадзе проникнуты печальным юмором,



который порой переходит в горькую сатиру. Поэт не щадит ни себя, ни других, включая царского отпрыска.

Душевную боль поэта обостряет и крайняя бедность, в которой ему приходится жить: «Вот уж дров нет и заносит меня метель»... «Будь проклят тот час, когда я появился на свет...»

Поэт не видит никакого просвета и в будущем, единственное спасение, как ему кажется, в возвращении на родину, остающееся всего лишь безнадежной мечтой.

В лирических стихах Дмитрия Саакадзе основное место отводится любовной лирике, проникнутой грустью и печалью: «Ты отняла у меня все — разум и сердце»... Увы, видимо, любимая не разделяла столь сильных чувств поэта.

И все же лучшим образцом эмигрантской поэзии считаются его стихи, обращенные к царевичу Георгию Вахтанговичу, в которых сквозит огромная боль и безысходность всех людей, мечтающих вернуться на родину.

Дмитрий Саакадзе является одним из самых интересных поэтов второй половины XVIII века, в лирической исповеди которого отражены все существенные признаки грузинской эмигрантской поэзии.

**Лали ДЗОЦЕНИДЗЕ**





Роман МИМИНОШВИЛИ

## МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

### НОВЕЛЛА

Эту новеллу Роман Северьянович попросил перевести на русский язык незадолго до своей смерти. Мы тогда не предполагали, что это — его последняя просьба. Сегодня, печатая перевод новеллы, мы со всей горечью осознаем зловещее значение слова «последний»...

Джано наспех переоделся, влез в домашние тапочки и, только устроившись в кресле, смог наконец успокоить требовательно верещавший мобильный телефон. Он порядком устал за день — до ста телефонных бесед, несколько телефонных совещаний с представителями фирмы, разбросанными по всему миру, осмотр с помощью телефонного экрана различных объектов, не мудрено, что домой он вернулся без сил. Ему уже было не до еды и отдыха, тем более, что до начала футбольного матча оставалось совсем немного времени, а он не мог позволить себе пропустить финал на первенство мира с участием сборной Грузии, тем более, что такое случается далеко не часто. На исходе первое двадцатилетие двадцать первого века, а Грузия только третий раз участвует в финале. В первый раз она довольствовалась вторым местом, в другой раз — завоевала кубок, и вот ей предоставилась третья возможность. До футбольного матча оставалось всего-то ничего — час. Час — отрезок времени, которым человечество измеряло время до двадцать первого века, теперь же счет идет на секунды, поскольку время — деньги, как говорят американцы. Так что, согласно нынешним меркам, до матча оставалось



3600 секунд. А это не так уж и мало. В телефонном аппарате зазвучало одновременно несколько голосов, и на экране появились друзья Джано: Джаба, Джвебе, Джиджи, Джаджу, Джони, Джина, Джуна и Джарджи. Они в один голос просили его присоединиться к ним и вместе посмотреть футбол. Конечно же, 3600 секунд не так уж и мало, чтобы не успеть собраться всем вместе, — ведь есть сверхзвуковые и сверхсветовые самолеты, но они имели в виду совсем другое — подсоединиться к видео-аудио телевизорофону. Это давало возможность обмениваться мнениями по поводу перипетий матча и комментировать их: «Глянь, что он выкинул!», «Отдай пас!» и что-то еще в таком роде. На худой конец, они бы дружно в сердцах материли судью. На том и сошлись.

Только он отключился, как на экране появилась Цира в прозрачном халате, накинутом на обнаженное тело. Конечно же, столь пикантный халат не мог скрыть всех прелестей обнаженного тела и еще больше разжигал любопытство и страсть. Джано пробрала сладкая трепетная дрожь, он не мог спокойно смотреть на подобное совершенство, тем более, что они поженились всего три месяца назад...

— Не соскучился?

Жестокая, как будто не видит обалдевшее лицо мужа и не читает исчерпывающий ответ в его глазах!

— Я тебя очень люблю! — наверное, это правильный ответ.

— Повтори!

— Очень-очень!

— Любишь, но не скучаешь?

— Выводы делай сама! — упрямится Джано.

— В таком случае... — женщина стремительно сбрасывает с себя халат и теперь уже бесстыдно, в чем мать родила, красуется на экране!

— Боже мой! — простонал Джано, — как только закончится матч, я буду у тебя...

— А как же твои дела?

— К черту дела!

— И футбол?

— Дорогая, прошу тебя...

Цира призывно рассмеялась, потянулась за халатом и послала мужу воздушный поцелуй.



И только теперь Джано задумался: этот телефон всемогущ во всем, кроме того, что касается секса. Если бы можно было целоваться на расстоянии! Какая экономия времени! Ведь время — первая забота для человека двадцать первого века.

Как знать, хорошо ли, что в мире больше нет секретной и недоступной информации? Четкого ответа на этот вопрос пока не существует. Вроде бы неплохо, что ты обо всех все можешь знать, но ведь и о тебе всем все также известно. На днях его почему-то заинтересовало, сколько Джано было в мире. Набрал по телефону нужные цифры и через четыре секунды получил исчерпывающий ответ: во всем мире оказалось пятнадцать Джано и все почему-то Багратиони! На мгновение его пронзила странная мысль — раз он не Багратиони, то наверняка присвоил себе чужое имя.

У современного телефона неограниченные возможности! Для него не проблема показать на экране, что происходит в доме в твое отсутствие, не оставил ли ты включенными электроприборы, не нагрянул ли незваный гость, именованный в двадцатом веке вором? Таким же образом можно заглянуть и в другие дома. Но самое большое неудобство — то, что твои интимные отношения становятся достоянием других. Замечены уже две крайности: люди состоятельные сооружают в домах специальные бункеры, непроницаемые для волн или лучей соответствующих частот, хотя и в этом случае ни для кого не секрет, с какой целью пара укрывается в бункере... А другая крайность в том, что раз ничто ни для кого не секрет, пары предаются любви прямо на свежем воздухе в парках и скверах, если погода позволяет. Это вызывает неопишуемый восторг детей, которые, сидя на корточках перед влюбленными, подбадривают их громкими аплодисментами и восторженными криками. Одно время правительства многих стран запретили подобные зрелища, но в дело вмешалась международная организация по защите прав детей, которая сочла, что этим жестоко попираются их права.

Вообще-то человека двадцать первого века трудно чем-либо удивить, но Джано был поражен, когда узнал, что с помощью его волшебного телефона можно даже выкрасть мяч с футбольного поля. Так он зав-



ладел мячом, которым грузины забили первый гол в ворота бразильцев в матче на первенство мира. Джано и сейчас гордится этим мячом. Первое время и судьбы, и футболисты никак не могли понять, куда исчезают мячи с поля. Но когда все выяснилось, на стадионе были смонтированы специальные установки, блокирующие телефоны. Если все же кто-то пытался похитить мяч, на экране тут же появлялась комбинация из трех пальцев и раздавалась ругань на языке той страны, которой принадлежал стадион. Впрочем, и здесь не обходилось без курьезов: во время матча на стадионе им. Пайчадзе ругань прозвучала не на грузинском, а на английском языке: оператор перепутал Грузию с американским штатом Джорджия. Это вызвало бурный протест пакистанских звиадистов, устроивших многотысячный митинг и категорически потребовавших восстановления законного правительства.

Телефон ненадолго умолк, дав его хозяину возможность выйти на балкон и оглядеть улицу. И все же, как затянулись эти 3600 секунд! Джано был не в состоянии что-либо делать сейчас, даже проглотить чашку кофе, при том, что с утра и маковой росинки во рту не было. На улице сновало множество народу. Люди куда-то торопились, не замечая друг друга, у всех рука приложена к уху, словно вот-вот возьмут высокую ноту баяти\*. И Джано вдруг увидел, что весь мир говорит, говорит, говорит разом. Хотелось бы знать, есть ли сейчас на свете человек, оставшийся наедине с собой и думающий о чем-то? О научной идее, например, музыкальной мелодии, гармонии цвета, поэтическом образе?

Снова телефонный звонок... Что делать, подойти? К счастью, пока еще не придумали аппарата, который сам бы спешил к тебе. Кошмар, звонок не замолкает! Если бы не сегодняшний матч, он вообще не притронулся бы к аппарату.

Джано в изнеможении опустился в кресло...

— Алло!..

17.01.98 г.

Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ

---

\* Восточная мелодия.



## ЗДЕСЬ НЕ ДАДУТ УМЕРЕТЬ

## РАССКАЗ

Мужчина в выцветшей голубой рубашке кружил между прилавками уже добрый час. К завсегдатаям шумного толчка, известного в городе как «воронцовский», отнести его было, конечно же, нельзя. Те сразу угадывались по твердому шагу, быстрому ухватливому взгляду и частому взбросу руки — адресному приветствию старым знакомцам.

С тех пор, как рыночная экономика беззастенчиво опростала карманы горожан, а прогрессивные дяди из финансового министерства тихо обнулили и без того скромные счета бывших совслужащих, они, болезные, каждое утро, ни свет ни заря, с увесистыми баулами в руках покорно брели к тенистому скверику близ мутной курной воды. Достигнув места назначения, разноплеменная братия новоявленных коммерсантов мелкими ручейками растекалась по своим привычным местам и вытряхивала наружу содержимое баулов.

Строгая иерархия неравенства по части занятия наилучших торговых мест образовалась как-то сама собой, без дерзких претензий и громовых споров. Длинные металлические столы в центре толчка пригружали роскошным антиквариатом потомки сололакской шустрой буржуазии, чуть поодаль кучковались любомудрствующие книжники, фланговые позиции за столбили продавцы радиодеталей, бетонные ступени двух круто сбегавших вниз с приречного взлобья лестниц оккупировала хромированная сантехника, а притоптанная до серого глянца, нагая земля самого взгорка из конца в конец была отдана на откуп всякой всячине — незавидному товару пустокарманного тбилисского люда... Рыщет такой бездольный «воронцовщик» по закуткам своей квартиры, глядь — наткнулся на прабабушкино портмоне с замурзанными амур-



чиками посередке, и верится уже простаку, что сия галантерейная вещица худо-бедно, а на три ларика непременно потянет... В мешок ее — вслед за костяным гребешком, пластмассовой мухобойкой и «Книгой о вкусной и здоровой пище»! Она-то уж точно в доме не понадобится. Ан закавыка — и здесь, на «Сухом мосту» (второе, более ходовое прозвание торжища), к этому потрепанному кладезю кулинарной мудрости приценится разве что какой-нибудь гурман из празднующейся публики. Приценится, полистает книженцию, в лучшем случае извинится и пойдет дальше: древние рецепты приготовления вкуснятины можно сыскать и под новой обложкой.

Мужчина в голубоватой рубахе на фланера никак не смахивал. Возраст его клонился к шестидесяти, а в такие лета природа принуждает василиев, хуанов, тариэлов и джонов быть либо бесстрашными добытчиками, либо бессемейными выпивохами. Последние уже заступили на трудную похмельную вахту в продуваемом шерстистым курным ветерком духане, по-народному — «сквозняке», дощатом, щелистом сооружении, забавно удостоверяющем таланты местных острословов. И будь тусклорубашечник в жестоком вчерашнем перепое — давно бы вибрировать ему у выносной стойки, натужно уширяя глаза и расплескивая по пути ко рту кружечное пиво. Среди ревностных почитателей этого напитка «сквозняк» пользовался репутацией особого питейного заведения. Духанщик Шалико милостиво относился к своей клиентуре и частенько исцелял безденежных страдальцев на кредитных началах. Правда, сердоболие его сменялось ворчливым отказом, ежели какой-нибудь задолжавший «трясун» решался повторно опробовать дармовой вариант. С чрезмерно хорохорившихся наглецов памятливым Шалико немедленно требовал плату за предыдущее удовольствие. Непреложность таких условий вплотную соседствовала с утверждениями злоязычников, что духанщик вовсе не альтруист, и на бесплатную опохмелку пускает сцеженное из кружек недопитое пиво. Как бы там ни было, все беспорточные тбилисские горемыки уважительно величали Шалико «доктором», а вязкое бурое пойло смаковали глоток за глотком с не меньшей периодичностью, чем шествовавшие вдоль



рядов заезжие иностранцы прикладывались к поллитровым склянкам «Будвайзера». Зарубежные гости, не частые визитеры, все больше из организованных гуманистов, подрядившихся спасти слабосильную страну, подплывали к рынку во второй половине дня, и тогда разморенные недвижимым июльским духом аборигены по внутреннюю сторону прилавков спешно оживлялись.

Мужчина в голубоватой рубахе, отколобродив, прилепился к парочке худых француженок, вперекор недевическому возрасту чуть прикрытых короткими топиками и свободными, хорошо вентилируемыми шортами.

— Ай, пожалуйста, сюда, сюда! — выбросив вперед полусогнутую ладонь, завертел выступающей острой челюстью отставной полковник НКВД, нумизмат и фалерист Гриша Захаров.

Француженки понимающе улыбнулись и подошли к столу, на котором вперемешку с припылившимся за день монетным достоянием старого полковника зыбким блеском лучились медали, ордена, значки, бляхи и прочая коллекционная разноцветица.

— Пожалуйста, на выбор! — вновь зачастил Гриша. — Вот русская денюга. Вот заграничная. Или, может, медальками интересуетесь? У меня все есть. Вы из какой страны будете?

— Французы они, «генерал», — просветил Гришу мигом прискакавший из-за соседнего столика Толян, черноглазый сутулый малый с приплюснутым черепом. — За что только я тебя в чине повысил?! Ни хрена языков не знаешь!

— Молчи ты, плоскокровельный! Ко мне же подкатили, — цыкнул на Толяна «генерал» и, поглаживая седенький клин бороды, надтреснутым голосом увядшего сатира выдохнул в женщин слегка офранцуженную тарабарщину: — О, Париж... Сена... Этуаль... Ля фам... Генерал де Голь... Я тоже генерал. Ветеран, так сказать, войны.

— Ага, окопником еще назовись. Расскажи лучше, как звезды в гепеушных подвалах зарабатывал! — грубо осадил «генерала» авторитетный коллекционер Жора Баранов, по обыкновению уже пропустивший несколько стопок чачи. — Брешет все, дамочки, бре-



шет! Не генерал он, а полковник краповый, — конвойник, значит. Это я, я — потомственный казак, военное семя. Дед мой у Мамонтова сотником служил. Не верите? Вот, его метка постоянно со мной.

Смущенные иностранки отпрянули было назад, но тут одна, кудрявая брюнетка, видать, волочившая по-русски, залопотала что-то своей товарке, и они обе с любопытством воззрились на Баранова, который растегнув сорочку, обнажил пупырчатые ключичные впадины и сунул прямо под нос кудрявой брюнетке висевший на суровом шнурке медный жетон с неясными вензельными царапинками.

— Вот, взгляните... Архип Барканов, начальник кубанской сотни. Это уже потом мы Барановыми заделались... Буковка выпала... Знаете, казаков не жаловали.

— Си, си... Да, да! — закивала головой брюнетка и, преодолевая неродноязычие, спросила: — Продавать как? Мой муж интересуется касаский знак...

— Ну что вы, мадам, душа не продается! — слабо возмутился Жора. — Другое могу предложить. Вот, к примеру, «Двухсотлетие французской революции».

В этот момент мужчина в голубой рубашке вытащил из кармана брюк пластмассовую квадратную коробочку, открыл ее и, выставив на всеобщее обозрение зеленоватый литой кругляш, нерешительно поинтересовался:

— А такое вот у кого-нибудь имеется?

Все сдвинулись в круг. «Генерал» Гриша слоистым длинным ногтем осторожно извлек кругляш из заглубленной подушечки и близко-близко поднес его к глазам.

— Да чего там приглядываться! Простая штука. Ихняя памятная медаль «Герою Сопротивления». Пять лари — красная цена, — с ходу определил достоинство вещицы Жора Баранов и пояснительно добавил: — У меня была такая. За пять взял — за десять сбыл.

Мужчина в голубой рубашке наверняка сглатывал голодную слюну, спровоцированную летучими ароматами «сквозняка», потому как на жориных словах дернул кадыком, поперхнулся и сорвался в надсадный кашель. Гриша Захаров правой рукой усиленно засту-



кал незнакомца по спине, а другую — с медалькой в зажатых пальцах — протянул высокой голенастой француженке. Взгляд ее из-под выщипанных бровей непатриотично отпорхнул от простертой длани «генерала» и переместился на наконец-то прокашлявшегося мужчину.

— Документ? — спросила безбровая гостья.

— Какой? — не уразумел вопрос мужчина, но тут же спохватился: — Конечно, конечно. Орденская книжка отца моего, Александра Тенгизовича Гегечкори. Его под Тамбовом в сорок втором пленили и в Германию сослали. Год лагерей, а потом он сбежал к французам, не знаю уж, как удалось... Партизанил вместе с ними... Маки, маки... Слыхали же, конечно?

Безбровой иностранке было явно не под силу ухватить весь смысл произнесенной тирады, и она, покорно склонив голову, вслушивалась в медленный, с паузами, шепот брюнетки-переводчицы.

— Ну вот, Саныч, и покупательницу зашпилил, — переходя на свойский манер, одобрительно подмигнул мужчине «генерал» и тихо, в обвод длинных барановских ушей, посоветовал: — Долларами проси. Гни выше червонца, выше!

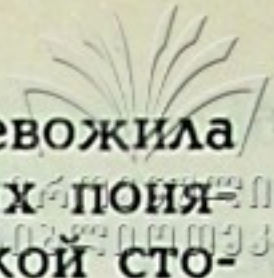
Гегечкори, обрадованный скорее простодушным приятельским обращением, чем туманной вероятностью торговой сделки, повинно улыбался:

— Я бы никогда не продал. Желудок принудил. На пенсию не разживешься. Кроме как людей лечить, я ничего не умею. А врачей нынче пруд пруди, да и годы не те...

— Все мы тут не от хорошей жизни валандаемся, — буркнул Жора Баранов, холодно зыркнул на «генерала» и, как бы между прочим, бросил: — Будут брать, меньше чем за полста не отдавай. В цене она у них...

Разнобойная цифирь, поминаемая в привязке к отцовской медали, дезорганизовала скромные расчеты Гегечкори. Конечно, задарма отдавать последнюю реликвию он не хотел, но как человек в купле-продаже совсем не ушлый, готов был сторговаться за цену по менее только что посоветованной Жорой Барановым. Мысль о моментальном возрастании бюджета, что говорить, тревожно будоражила Гегечкори, а вот про-





цедура осуществления этой затеи невесело тревожила его нутро. Постаревший врач исходил из своих понятий о людской порядочности, и торговля никакой стороной к ним не примыкала. Здесь, среди базарного гвалта Гегечкори чувствовал себя неуютно, и еще за пять минут до случайной встречи с француженками стоимостным ориентиром для отцовской награды он считал невеликую сумму в десять-двенадцать лари. Дали бы ему столько замусоленных «пиросманок» — и пропади ты пропадом, Сухое подмостье! Сбежал бы мигом от этого крикливого народца, прихватил бы в лавке лавашу да кусковой брынзы — и домой, к стакану крепкого чая, к недочитанной книге об Альберте Швейцере, к милым телефонным разговорам с Мариной Аркадьевной. Дернул же шут потянуться за этими сухопарыми мымрами: теперь иди, ломай голову, сколько запрашивать. Похоже, пьяненький казацкий отпрыск не врет. Устыдился, видать, первой своей побрехушки... Пять лари... «Кроликовод-отличник» и то, наверное, больше стоит...

Путаницу мыслей в голове подрастерявшегося Гегечкори внезапно упорядочил вопрос кудрявой брюнетки:

— Как вы ценить эту регалию?

Гегечкори на мгновение потупился, но тут же встряхнулся, расправил плечи и громко ответил:

— Сорок долларов.

— Правильно... Промежуточная цена. Ай да Соломон! — цокнул языком, клекотнул «генерал».

Безбровая француженка отрицательно помахала поднятой рукой. Гегечкори хотел было уже скостить цену сразу вполовину, как вдруг брюнетка достала из ридикюля четыре зелененьких прямоутольника и сказала:

— Подруга не взять, а я хочу.

Всю свою жизнь советский врач Тенгиз Александрович Гегечкори зарабатывал на хлеб прощупыванием животов и простукиванием грудных клеток. Чтобы воскресные обеды хотя бы иногда отличались от постных будней, Гегечкори в придачу к поликлиническому мизеру выгадывал небольшой приварок на «Скорой помощи». После шести ночных дежурств он мог смело пригласить Марину Аркадьевну к себе домой на



безвылазный «уикенд» — любимые обоими выходные, когда, помимо тесного общения, они услаждались чудными отбивными под прямым горчичным соусом. Отрадные деньки эти давно растворились в полуголом прозябании, и только прирожденная крепость души спасала старгородскую интеллигентную пару от сокрушительной безысходности. Уже года полтора, всякий раз завершая телефонный словообмен с Гегечкори, Марина Аркадьевна грустно вздыхала: «Тенго! Я прочла твои последние книги. Готовь новую партию, но, Боже, как надоело питаться сухим пайком».

Тенгиз Александрович с излишней, как ему показалось, заискивающей учтивостью поблагодарил брюнетку, сложил доллары вдвое и опустил их в нагрудный карман выцветшей рубахи. Суровости лекарской жизни отучили его от сентиментальностей, но детское мягкодушие, словно предвестие надвигающейся вечности, обнаруживалось все чаще и чаще. Отцовская награда, сорок лет пролежавшая в ящике письменного стола, уплыла теперь навсегда. Легкая боль ужалила сердце Гегечкори. Он заметил, как уже на развороте к другим прилавкам брюнетка уместила медаль в коробочку и отдала ее своей безбровой подруге. Пальцы правой руки Гегечкори непроизвольно сложились в щепоть, и он, чуть приподняв кисть, послал вслед удалявшимся французенкам тихое благословение. Предназначалось оно, скорее не им, а маленькому кругляшу, возвращавшемуся на родину.

— Ну вот, кончилась планерка, — сказал «генерал» и развел руки в стороны. — Жди теперь, когда заграница появится.

— Жди — не жди, тебе все равно ничего не достанется. Сегодня здесь одни перехватчики снуют, — усмехнулся Жора Баранов.

Гегечкори никак не отреагировал на колкости, продвинулся к парапету, уперся ногой в каменную пузатую балясинку, достал из пачки сигарету и закурил.

По рыжей Куре плыл дырчатый пенопластовый брусочек. Речная чайка норовила усесться на краешек обрезка, но он все время зарывался в мелкую волну, и птица, то взлетая, то снова снижаясь, будто отплясывала над водой какой-то нехитрый танец. Неожиданно ветерок перестал рябить воду, течение выравнялось,



и маленький пенопластовый плотик гладко понес на себе смышленную пернатую мореплавательницу.

Гегечкори подивился птичьей настойчивости, вздохнул, машинально кинул в реку выгоревший до фильтра окурок, отвернулся от парапета и пристыженно сник, услышав двусмысленное замечание «генерала»: — Гляди, так и до самого Каспия доплывет...

«Все вы тут человека поддеть мастера... А сами-то, сами?!» — подумал Гегечкори, и уже успокоенный, заключил, что «генерал» скорее всего имел в виду чайку на пенопластовом суденышке.

Тенгиз Александрович потянул руку к нагрудному карману и вдруг за хрусткими всеильными бумажками ощутил под пальцами плотный картон орденской книжки. В спешке брюнетка забыла прихватить документ, обязательное наличие которого почему-то было так небезразлично для ее спутницы. Гегечкори хотелось оставить у себя эту маленькую частицу отцовской памяти, но лукавое желание быстро подчинилось самородной порядочности, и старый врач, попрощавшись с новоприобретенными знакомыми, поспешил к фонтанчикам для питья подле «сквозняковских» стоек, где только что мелькали пышные кудри стройной брюнетки.

В самом конце прилавочного межрядья высился частокол широких мужских спин. Молодая бабенка из торговки элитным парфюмом выкрикнула: — Врача, врача!.. — и, набрав в чашку воды, передала ее стоявшему в полукруге плечистому парню.

«Ага, оказывается, ты еще нужен людям... Зовут на подмогу...» — пытаюсь совладать с проклюнувшейся одышкой, Гегечкори вертко вклинился в людскую гущу.

Безбровая француженка лежала на дорожном песочке в аккуратной позе — руки вдоль тела, ноги выпрямлены. Видимо, брюнетка, усиленно кропившая подругу водой из чашки, только что позаботилась об эстетике драматического момента. А нужно было тревожиться совсем о другом. Гегечкори это понял сразу. Голова лежавшей женщины склонилась набок, лицо посинело, над чуть приоткрытой полоской рта пузырилась пена.

— Подложите что-нибудь под голову, — повели-



тельно бросил Гегечкори, присел на корточки, левой рукой взялся за подбородок француженки, а правой стал разжимать сомкнутые зубы. Задача оказалась трудновыполнимой. Плечистый парень с добрыми санитарскими задатками осторожно уложил голову женщины на пухлую спортивную сумку, метнулся к прилавку, выбрал среди антиквариата костяной нож и подал его Гегечкори. Врач благодарно кивнул головой и, уже вооруженный подсобным инструментом, продолжил прежнюю операцию. Наконец-то матовый десертный ножичек нырнул вглубь, и Гегечкори протиснул между зубами вчетверо сложенные концы длинной цветастой косынки, повязанной вокруг женской шеи.

Изо рта француженки поползла кровянистая пена, тело задергалось, но спустя десяток секунд утихло в судорожном извиве.

— Ну, слава Богу, отпустило. Жаль, прикусила-таки язык! — сказал Гегечкори и повернулся к брюнетке: — А вы знали, что у нее падучая?

— Что, что? — взволнованно переспросила еще не пришедшая в себя женщина.

— Эпилепсия, говорю, мерзкая штука. Вы знали, что у вашей подруги эта болезнь? — повторил вопрос Гегечкори.

— Нет. Мы на вояже познакомились, — ответила брюнетка и невпопад добавила: — Она есть хороший, очень хороший человек.

— У болячек свой счет. Они не разбирают, — плохой, хороший. Все равны, — вздохнул Гегечкори.

Люди стали расходиться. Торговка элитным парфюмом тронула Гегечкори за руку и тихо произнесла:

— Спасибо! Вы спасли человека.

— Да все мы спасли, — смутился Гегечкори.

— Здесь не дадут умереть, — весело усмехнулся плечистый парень и пошел возвращать костяной нож хозяину.

Припадок у бедной француженки закончился. Она недоуменно всматривалась в низкое тбилисское небо, потом приподнялась и, ощутив под собой странную мокроту, встала на ноги. Высокая брюнетка отерла лицо подруги носовым платком и увела ее в тень платана.

От голода Гегечкори начало подташнивать. Поче-



му-то вспомнилось, как двадцать лет назад ему, заведующему гнойным отделением окружного госпиталя, довелось вытаскивать из мертвой перитонитовой хватки молодого солдата — новобранца. Солдатик кричал от нестерпимой боли, звал на помощь далекую маму и не верил, что его спасут. Перитонит был общий, гной разлился по всей брюшине, медики бились всю ночь, выложились до конца, но наутро парень умер. Ощущение пустоты, тщеты жизни мучило тогда Гегечкори очень долго. Из хирургии он ушел навсегда.

И сейчас похожее чувство вихрилось где-то совсем рядом. Нужно было убежать, ускользнуть, вернуться от надвинувшейся, грозившей жестоким обвалом беспросветности.

«С чего бы это? Ведь, правда, человека спасли», — подумал Гегечкори и, не успев разобраться в причинах своей тоскливости, услышал за спиной громкий голос. Он повернулся. Перед ним стояла высокая брюнетка. В руке она держала маленькую серую коробочку с откинутой крышкой. На дне коробочки лежал серебряный круглый отливочек. Гегечкори узнал бы его среди тысячи других.

Француженка сделала шаг вперед, протянула руку и сказала:

— Мсье, примите, пожалуйста, от Франции. Вы спасли человека.

За шестьдесят прожитых лет Гегечкори не удостоился ни одной награды. Это была первая. Он поклонился, поцеловал женщине руку, круто развернулся и зашагал прочь.





## «КАК МЫ ПИЩЕМ»

НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ АНКЕТЫ ОТВЕЧАЕТ ПОЭТ  
БЕСИК ХАРАНАУЛИ

**Подготовительный период. Длительность его?**

— Как монах всегда помнит о Боге, так поэт обязан помнить о поэзии. Но это в идеале. В действительности художник зачастую теряет творческий энтузиазм — теснят житейские заботы, бытовые проблемы... Тем не менее, это время не проходит зря, оно и есть подготовительный период к созданию того или иного произведения. Ибо и произвольно, и непроизвольно сознание фиксирует какие-то мысли, представления, картины, которые затем воплощаются в слова, ложатся в основу образов. То есть творческий процесс — вещь постоянная, перманентная.

**Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями)?**

— От биографии никуда не уйдешь. Так же, как от наблюдений и прочитанных книг. Надо использовать любой материал, могущий стать источником творчества.

**Часто ли прототипом действующих лиц являются для Вас живые люди?**

— Отображение свойств и особенностей реальной личности придает произведению точность. А для меня точность — главное в поэзии.

**Что Вам дает первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т. д.)? Данные в этом отношении о каких-нибудь Ваших отдельных работах.**

Когда, где и по какой причине возникнет импульс, заранее предсказать невозможно. Это может произойти где угодно и совершенно неожиданно. А первый импульс определяет произведение. Поэтому я всегда ношу с собой ручку и записную книжку. На вторую половину вопроса ответить затрудняюсь.

**Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день — максимум?**



— Каждое время суток для меня незаменимо. То, что даёт работа ночью, не даёт утренний труд. И наоборот. Кажется бы, лучшее время для творческих занятий — полдень. Однако — это не совсем так.

В общем, работаю сколько могу.

**Примерная производительность — в листах в месяц?**

— Точно определить затрудняюсь. В разных случаях разная.

**«Допинг» в процессе работы?**

— Никакого «допинга».

**Техника письма: карандаш, перо, пишущая машинка или компьютер? Делаете ли во время работы рисунки? Сколько раз переписываете рукопись? Много ли вычеркиваете в окончательной редакции?**

— Пишу шариковой ручкой, потом написанное перепечатаваю на машинке. Затем правлю и опять перепечатаваю. Я согласен с тем, что писать — это умение вычеркивать. Главное, побороть свой эгоизм и, если нужно, пожертвовать даже удачными, но не нужными в данном случае фрагментами.

Рисунки на рукописи не делаю.

**Составляете ли предварительный план и как он меняется?**

— Какой-то план, скажем, для поэмы составляется. Но в поэзии правит не рассудочность, а нечто другое. В плане же немало «от головы», он во многом оказывается искусственным и, естественно, в процессе письма отходишь от него.

**Что оказывается для Вас труднее: начало, конец, середина работы?**

— Все они одинаковы трудны.

**На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных и т. д.)?**

— На всех восприятиях.

**Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования?**

— Для меня все это входит в тон произведения. Чтобы изложение получилось искренним, надо выбрать верный, точный тон. Правильный выбор — уже половина успеха или даже больше того. В стихотворении есть нечто, подобное нерву, и ему нельзя изменять.

**Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)?**

— Читаю себе. Другим не читаю.

**Какие ощущения связаны у Вас с окончанием работы?**

— И радостно, и грустно одновременно. Грустно оттого, что



словно бы должен разгласить свою тайну, дать читать другим что-то очень личное, сокровенное, заветное.

**Меняете ли Вы текст при последующих изданиях?**

— Не меняю. Старые фотографии нельзя переделывать, даже если они вам не нравятся.

**Оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии?**

— Рецензии о себе читаю редко, ибо никакой практической пользы в творческом смысле они не приносят. Критики зачастую придерживаются старых взглядов, игнорируют новые ценности. Правда, благодаря положительным рецензиям можно заслужить благорасположение общества.





Нонна КУПРЕЙШВИЛИ

## «ЛЕЧИ СВОЮ МЫСЛЬ, ЧЕЛОВЕК...»

Смерть сухумской поэтессы Этер Самхарадзе-Джгамадзе могла бы стать «популярной» темой, во всяком случае, хотя бы на время оказаться поднятой на щит в атмосфере той всеобщей жалостливости к себе, в которой мы живем уже столько времени. Действительно, что может быть ужаснее и несправедливее, чем жестокое убийство поэта, прижимающего книгу к груди?! В этом — абсурдность войны, наиярчайшего проявления насилия, и духовное убожество убийц, в данном случае ослепленных этноцентризмом мстителей... Но, к счастью, на этот раз никто не стал спекулировать ненавистью врага, вернее, спекулировать в традиционном смысле. Может быть потому, что даже на фоне нашей пресловутой толерантности (представляющей грузин все и всепрощающими совершенными в нравственном отношении существами) убийство поэта (равно как и ребенка или старца) было воспринято как жесточайшее посягательство на жизнь. А может быть и потому, что наш потрясенный и разгневанный рассудок вместо обмена ядовитыми стрелами взаимных обвинений встал, наконец, перед необходимостью врачевания мыслью по Важа Пшавела?!

Наиболее желательным, что могло повлечь за собой глубокое осмысление этой необходимости, была бы готовность отмежеваться от нашего же «бутафорского» прошлого, которое, одинаково припудривая привлекательность и омерзительность реальности и потому лишая ее истинного лица, все еще маячит перед нами. И особенно, наверное, в Абхазии. Этот край, будущий троянский конь для Грузии, как уже было изящно и точно отмечено, и вожделенная «ост-Индия» — для России, как бы притягивал и аккумулировал в себе все порочные идеи досоветского советского и постсоветского периодов. Удивительно, но для большинства живущих здесь и не существовало сказочного рая, отданного им «щедрой природой в веч-



ное пользование». Поведение людей мотивировалось, в основном, «духовной тривиальностью, порожденной нищетой» (здесь эта черта приняла всеобщие масштабы), «компенсация» которой была возможна разве только за счет подавления истинного патриотизма, истинной гражданственности, истинного профессионализма. В результате мы получили весьма стандартный симбиоз — духовную нищету и все растущее, ненасытное по своему характеру благоденствие...

Создается впечатление, что до определенного времени в этой атмосфере взаимного отчуждения, в которой грузины, благодаря «бериевщине», представлялись незваными «черными гостями» («Черные гости» — так назывался роман Г. Гулиа), а абхазы — северокавказскими кондотьерами, лишь люди особого духовного склада, еще «не разучившиеся мыслить», возможно, более поэты (и наверное не только поэты!), были одержимы подсознательным желанием всеобщего спасения... Может, в связи с кем-либо другим я и ошибаюсь, но в отношении Этер Самхарадзе-Джгамадзе дело обстояло именно так. Несмотря на то, что ее поэтическая речь не отличалась новациями и не было в ней «снов, никем не виденных дотол», более того, метрика и тематика ее стиха отличались крайней традиционностью — налицо одно из важнейших условий: абсолютная искренность интонации, что, на мой взгляд, дает ее поэзии полное право на существование. Иными словами, это отражение мгновенного восприятия локального до известной степени мира, хотя и отличающееся от уникальной способности «беседовать с вечностью» и не создающее имитации божественного костра поэзии, но тем не менее разгоняющее мрак, подобно светлячку: «Когда фиолетовое покрывало покрывает голубые вершины, нежится Эрцаху, и по ту сторону дебрей сверкает изумрудное пространство, когда огненно-красные листья чинары медленно летят к морю, а хризантемы в белых платьях готовы воспарить к солнцу, когда шелестящая пальма у синего берега ласкает тебя раскрытым веером, дремлет магнолия, и лунный свет серебряным платком купается в море... Вам бы увидеть тогда мой Сухуми, сравнимый лишь с райским садом»...

Эти бесхитростные строки звучат для меня сегодня не торжествующей песнью, а реквиемом по уничтоженным корням (я ведь тоже родом из Сухуми), но не это главное. Главное то, что происходило тогда на наших глазах, — спасение оскудевшего духа с помощью поэзии, сама возможность такого спасения и способность убедить в такой возможности тех, кто



не верит в сказки и, мягко говоря, ничего не смыслит в стихотворчестве и иррациональной природе слова вообще: «Ты верно, помнишь, было время, и я походила на бальный цветок. Красота? К чему мне была она, если ты ее не воспринимал. Может, ты слышал и об этом поверье — «лишь однажды поет лебедь», к чему мне была верность, если ты ее не разумеешь, или зачем я написала этот стих — из уважения к кому, из почитания кого? Множество мыслей он разбудит, если ты его не прочтешь...» — такое настроение владело ею, когда она, как путник на долгой дороге, выбивалась из сил, когда исключалась вероятность «приручения» стихом рядом стоящего...

В поэзии, несмотря на ее «бесплотность», обычно находит своеобразное отражение картина нравов общества. И в стихах Э. Самхарадзе-Джгамадзе возникает образ женщины, впряженной в ярмо традиционной по сегодняшним меркам зачастую не совсем цивилизованной жизни. Причем женщины благородной. Это то особенное состояние, когда кажется, что тебе все дано и в то же время ты абсолютно бесправна. Грузинское, так сказать, *everything and nothing* (разумеется, не совсем в борхесовском понимании), которое задолго до нас сформулировал мастер древнегрузинской (мегрельской) песни: «Вай, душа, любимая, какое благо смерть, будь у меня право жить, как широк мир...» Впрочем, автор этих строк стремился не к самоизбавлению или излечению своей души от недуга, но к сохранению и постижению ощущения неизбежности, той же вечности (что само по себе дело нелегкое), дабы его господство мира было не сухим и прагматичным, а исполненным боли, возвышенным. Наверное, и в душе Этер Самхарадзе-Джгамадзе происходил этот незримый поединок. (В противном случае она не была бы поэтом). Естественно, в иных масштабах, но все же происходил. Вне сомнения, полную победу одержал неподдельный талант восторга перед жизнью, которым обладала поэтесса и который стороннему взгляду казался порой чрезмерной экзальтацией.

Совмещение практически несовместимого — непреложных узаконенных повседневностью обязанностей и непознаваемых ионов души, не мирящейся с оскудением. Разве и наша жизнь не проходит под этим знаком? В поэтических сборниках Этер Самхарадзе-Джгамадзе именно эта линия проявляется более или менее четко, но непременно с доминантой поэта и матери: «...Стих и сын, сын и стих, вы — бессмертие моей мечты... Я лелею вас, и мне радостно, что вы чем-то похожи друг на друга...»



Тамаз Чиладзе как-то сказал, что чтение стихов гениальных поэтов, проникновение в зону влияния их духовного мира — это «пересаживание мечты, трансплантация мечты». Если это действительно так, то можно сказать, что Этер Самхарадзе-Джгамадзе была человеком, в которого трансплантировались мечты Галактиона, Иосифа Гришашвили, Георгия Леонидзе... Кто знает, может, потому и казалось, что она светится изнутри, одинаково ко всем благорасположенная, потому и красила свой родной город: «Кто я? Твоего неба синева, мерцанье звезд, тихий порыв ветерка в горах, смех родника. Твои оленьи тропы, твои турьи владения, граничащие с небом, я море синее, к тому же непокорное, к тому же гордое... Кто я? Я — солнце, несу тепло, притом какое!.. Я женщина — открывающаяся в стихах горя и радости!»

Вот и написана фраза, которую можно считать основной для этой статьи: «одинаково ко всем благорасположенная»... Вряд ли подобное свойство Этер Самхарадзе-Джгамадзе оставалось незамеченным для окружающих (в том числе и для абхазов, принадлежавших, в основном, к писательскому кругу). Тем более, что именно эта черта питала полную, скажем так, раскованность поэтессы по отношению к т. н. абхазской теме, что ничего, кроме здорового, естественного восприятия родины как единого целого «от Амирани до Абрскила», не означало, восприятия, исключавшего ущемление «национальных интересов» какого бы то ни было меньшинства: «...Грузия — ведь целая книга, которую надо перечитывать сотни раз...»

Сегодня для меня имя Этер Самхарадзе-Джгамадзе — не только драгоценная память о проведенном в Сухуми детстве, но и, что не менее важно, метафора грузино-абхазских отношений! Да, получить пулю за добро — поражение, и чувство, связанное с этим, которое как воздух необходимо нашему чрезмерному гедонизму, требует глубокого осмысления. Но это не значит, что, раскрыв беспомощные объятия, с криком «Братья!» мы должны броситься к полям по ту сторону Энгури («античным полям», как точно отметил абхазский поэт Д. Зантария; его стихотворение, напечатанное в «Новом мире» в № 11 за 1996 г., стоит того, чтобы с ним ознакомиться), чрезмерное самобичевание никому не нужно — это уже пройденный путь нигилизма, требуется одно — анализ, свободный от тенденциозности, рассуждение, которому уже отыскалось определение, и многие (разумеется, в какой-то мере условно) называют его как «рассуждение в духе Ильи». Илья Чавчавадзе не удовлетворялся рассуждениями и обличениями, это вид-



но из того, что параллельно со «Счастливым народом» он адресовал нам отнюдь не новогоднего характера поздравление («Что вам сказать? Чем порадовать?»), где нарисовал довольно точную и полностью нами игнорированную картину нашего будущего. Впрочем, «абсолютный перепев» прошлого сегодня никому не нужен. Но нелишне будет знать, что молодежь (и не только молодежь) определяет обстоятельства, сложившиеся в стране, как жизнь народа в «этномифологическом измерении, сомнамбулическом состоянии, как сон, лишенный реального чувства».

Вероятно, и подобные настроения наряду с другими причинами затягивают узел абхазо-русско-грузино-северокавказских политических замыслов (так сказать, модифицированный «кавказский меловой круг»). Вчерашнее (но еще довольно сильное) тоталитарное сознание подвергло этот целостный в этно-историческом или геополитическом отношении регион и его коренных жителей такой же сильной трансформации, как и все остальное вокруг. Мне кажется, главное, что нам следует знать: в каком ареале мы хотим и можем существовать — кавказском или закавказском. Ясно, я имею в виду один-единственный правильный ответ, опирающийся на новую, продиктованную сегодняшней реальностью действенную идею, ибо «время, щедро принесшее нам кровь и трупы», в котором убийство поэта, как и всего живого, даже «обязательно», представляется нам непреодолимым кошмаром...

Эта призванная спасти нас идея, вполне возможно, родится не в недрах писательской среды (минуло время непререкаемых авторитетов), но в совершенно иной сфере нашей же жизни. И в этом, я думаю, нет ничего тревожного...

Мне всегда казалось, что говорить вслух о любви к родине бестактно и несерьезно, но сейчас я закрываю глаза на это свое соображение, ибо мне верится, мы — на пороге назревшего обновления самого этого чувства. Поэтому заявляю во всеуслышание: я не хочу быть дочерью вечно притесняемого, фактически бесправного и в то же время «с гордой и стойкой душой» народа, я не хочу гордиться только предками, персонажами, Господи, прости мне, зачастую раздутой историей, я не хочу, чтобы нашу землю украшали только храмы, возведенные мастерами прошлых эпох, не хочу говорить и об избранности своих соплеменников. Я хочу врачевать себя мыслью, хочу обновиться, вырваться из «дурмана самодовольства», рационально осмыслить наше бытие во всех временных измерениях и убедиться, что мою родину минует «опасность про-



возглашения ее этнографическим заповедником». <sup>Сейчас</sup> я  
смотрю на безжалостно загрязненное пространство, <sup>молча</sup> за-  
лечиваю раны, заново отыскиваю значения слов, <sup>избитых, ис-</sup>  
тертых, борюсь с озлобленностью, ищу выход... И вспомни-  
лось мне, как много лет назад Этер Самхарадзе-Джгамадзе пред-  
ставила Иосифу Гришашвили, истинному ценителю красоты,  
своих детей, одетых в грузинские национальные костюмы...

В каждом человеке заложено зерно добра. Но когда доб-  
ро — форма существования, к тому же для человека, одарен-  
ного поэтически, — это уже попытка узаконивания добра, по-  
чти несбыточное желание создать недоступное злу магнитное  
поле, желание, постоянно живущее и обновляющееся в мире.  
Именно с этим желанием и прожила свою жизнь Этер Самха-  
радзе-Джгамадзе, и не может быть, чтобы уготовленная ей  
судьбой смерть (смерть поэта), ничему нас не научила.





Натела УРУШАДЗЕ

## ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ ТЕАТРА

Творчеством актера обычно интересуются, когда оно достойно внимания. Начинается изучение его биографии, первых сценических шагов... Приближение к истокам порой очень затруднено, сам актер редко когда рассказывает о себе. Но это всегда интересно, так как чаще всего он повествует о таких фактах, до которых исследователь может и не докопаться. Именно такая редкость — воспоминания актера Котэ Кипиани, сына одного из основателей возрожденного постоянного грузинского театра — Дмитрия Кипиани.

«Я родился 3 марта 1849 года в десятом часу вечера в квартале св. Троицы гор. Тифлиса.

Главноуправляющий Кавказом князь М. С. Воронцов давал в своем дворце представление на русском языке. В спектакле принимали участие избранные лица тбилисского высшего общества. Среди приглашенных находились и мои родители. Мама была тогда беременна мною. Когда началось первое действие, она вдруг почувствовала себя плохо, и все общество обратило взоры на нее. По залу пронесся шепот удивления — что это с ней, — мама, не выдержав, попросила отца извиниться перед наместником, и они покинули собрание. В то время в Тбилиси не было ни фаэтонов, ни каких-либо других средств передвижения. Знатных дам перевозили в портшезах — небольших каретах для двух седоков, которую с четырех сторон держали работники или слуги. В таком вот портшезе маму отнесли домой, а через полчаса появился на свет я. Опоздай мама домой, я родился бы в театральном зале».

Кто бы мог подумать тогда, что, родившийся почти в театре, он оказался рожденным для театра!

Ничто, пожалуй, не предвещало его театрального будущего. Одно было очевидно — юный Котэ проявлял рвенье к учебе. Первоначальное образование он получил дома — для воспитания двух своих сыновей Дмитрий Кипиани пригласил лучших грузинских и иностранных педагогов, которые должны были подготовить мальчиков к классической гимназии.



Котэ Кипиани был зачислен в гимназию в 1865 году. Он хорошо учился, замечательно рисовал. Случилось так, что Дмитрию Кипиани пришлось как-то посетить Петербург. Видимо, увлечение мальчика живописью было столь очевидно, что отец взял его с собой и определил там в художественное училище. Но совершенно неожиданно Котэ заболел глазами, и врачи запретили ему рисовать. И вот Котэ уже студент Петровско-Разумовской хозяйственно-лесной академии. И здесь он учится с увлечением, но не заканчивает ее, поскольку вынужден вернуться домой из-за болезни отца. Круг интересов молодого Котэ очень широк — его влекут к себе и наука, и искусство. Впоследствии станет ясно, что эти две привязанности будут постоянными спутниками его жизни.

По возвращении домой Котэ начинает работать сперва в Кутаисском управлении ценных бумаг, а затем в Боржомском государственном земельном управлении. Так началась самостоятельная жизнь этого многосторонне одаренного человека, который вскоре сделает целью своей жизни актерскую профессию и поставит все свое умение, все свои возможности на службу этому нелегкому искусству. Ведь чтобы стать выдающимся актером, недостаточно одного таланта, он непременно должен быть и общественным деятелем, ясно осознающим значение театра для общества. Именно таким актером и был Котэ Кипиани — достойный сын Дмитрия Кипиани, замечательная личность. Личностные же свойства имеют особенное значение для актерского мастерства, поскольку сценический образ актер создает на базе своей личности.

Что нам известно о Котэ Кипиани? Какими чертами одарила его природа? По воспоминаниям близких ему людей, он всегда был сдержан, трудолюбив, терпелив, вежлив. Умственный труд был для него своего рода отдыхом, он много читал, писал, любил во всем порядок. Ел в строго определенное время и, если, случалось, хозяйка опаздывала с обедом и его не звали к столу, он с часами в руках и с улыбкой на лице сам заявлялся к ней. Он неизменно выходил к столу безукоризненно одетым, элегантно, словно это был званый ужин. Надо было видеть, как он владел вилкой и ножом, как красиво он ел. Был остроумен, любил пошутить, рассказывать разные истории. Домашние звали его повествователем.

Образованность, любовь к литературе, порядочность и точность, приятная наружность, утонченность манер, пластичность, юмор, умение рассказывать — разве все это не свидетельствует об актерском таланте? И если провидение одарило его та-



ким даром, разве он не потянулся бы всем сердцем к театру? Тем более, что родился и вырос в семье Дмитрия Кипиани, активного борца за возрождение и развитие грузинского театра!

О своем первом выходе на сцену Котэ Кипиани рассказывает так: «В августе 1865 года в чудесном театре караван-сарая Тамамшева в Тифлисе с благотворительной целью был дан спектакль на грузинском языке. Играли комедию французского писателя Мольера «Женитьба» в переводе моего отца. Роль Дорименес исполнял Василий Мачабели, поскольку грузинки в то время еще не осмеливались выходить на сцену и быть актрисой считалось постыдным. На Мачабели надели платье с длиннющим шлейфом, который не был основательно пришит к подолу, а кое-где и вовсе приколот булавками. Я должен был нести за Мачабели этот шлейф и, держа его в руках, впервые вышел на сцену. Но лучше бы я не выходил! Увидев огромный до отказа набитый зрителями зал, я остолбенел и, открыв рот, застыл на месте. Мачабели тем временем пытался пройти вперед и, поскольку я продолжал стоять как пень, сделал резкое движение, и вдруг огромный шлейф остался у меня в руках. Раздался хохот, а затем аплодисменты. Сгорая от стыда, я с хвостом мачабелевского платья бросился за кулисы!».

Только через пять лет — в 1871 году — возвратившийся из Москвы К. Кипиани стал постоянным участником представлений, которые давали тбилисские любители сцены, но страх перед сценой не оставлял его, и долгое время Котэ ограничивался ролью суфлера. Разве это не свидетельствовало о его особенной любви к театру? Если не на сцене, то хотя бы возле сцены! Хотя бы в будке суфлера!

Такой тесный контакт со сценой, частые встречи с актерами заставили его постепенно забыть о страхе, понять особенности актерского творчества. С другой стороны, талант, как обычно, искал выхода, и случай не заставил себя ждать.

В 1871 году любители сцены решили поставить пьесу Г. Сундукяна «Пепо». Спектакль ставил сам автор пьесы. Суфлер К. Кипиани, естественно, присутствовал на всех репетициях и как все суфлеры знал пьесу наизусть. Драматург никак не мог добиться желаемого результата от Ал. Инашвили, исполнителя роли Гико — у того был мощный грохочущий бас, совершенно не подходивший старику Гико. Александра Инашвили сменил Л. Абашидзе, но без видимого успеха. Под конец потерявший терпение суфлер отвел в сторону Ал. Инашвили и стал показывать, каким голосом должен говорить немощный Гико. «Вот мой Гико!» — вскричал обрадованный дра-



матург и обнял за плечи молодого суфлера. На этом поиски актера на роль Гико прекратились. Так началась актерская жизнь Котэ Кипиани сперва в кругу любителей сцены, а с 1879 г. — в возрожденном грузинском театре, с которым он уже не расставался. Здесь он сыграл Свимона Лионидзе из «Родины» Г. Эристави, Отию Джолия из пьесы В. Гуния «Брат и сестра», Гиви из «Маленького Кахи» А. Церетели, Константина Батонишвили из одноименной пьесы А. Казбеги, Гико и Зимзимова из «Пепо» Г. Сундукяна, Иванэ, старшего мастера из «Сибиряка» А. Цагарели, грибоедовского Фамусова, гоголевского городничего, Ананию из «Измены» А. Сумбаташвили, шекспировских Лира, Шейлока, мольеровского Скапена и др.

Тогдашняя критика внимательно следила за творчеством К. Кипиани. О нем часто писали. В частности, что его герои никогда не бездействуют на сцене, независимо от того, говорят они или молчат, что он раскован и естествен на сцене, верен авторскому слову — никакой отсебятины. Все его действия на сцене подчинены определенной цели, и эти его свойства «будят в человеческом сердце струны истинного чувства и дарят ему эстетическое наслаждение» (И. Чавчавадзе); что он «одинаково естествен в драматических и комедийных ролях, убедителен и в роли стариков, и в роли молодых» (В. Гуния).

В 1914 году К. Кипиани справили юбилей. Шалва Дадiani во всеуслышание заявил: «Ты первый привнес на грузинскую сцену европейское отношение к роли и показал нам пример того, как должен относиться к своим обязанностям актер. Ты всегда был достойным исполнителем и по таланту, и по трудолюбию, и по уму, и по честности, — ты всегда высоко нес знамя настоящего Актера».

Он служил грузинскому театру полвека. За это время ему приходилось решать не одну проблему: слишком уж отличались друг от друга его сценические герои — возрастом и национальностью, социальным положением и характерами. Отличались и авторы, в чьих пьесах ему приходилось играть. Естественно, каждая роль требовала своеобразного подхода, и будучи глубоко образованным человеком, он прекрасно справлялся со всеми проблемами.

Кроме театра, он занимался и другими общественными делами — составил и издал русско-грузинский словарь астрономических, геологических, минералогических и др. терминов и технических слов. Активно сотрудничал в прессе — публиковал статьи на грузинском и русском языках, посвященные общественным проблемам, в том числе и проблеме совершенств-



вованія сельского хозяйства. И что главное — статьи о театральном искусстве. Он умел спорить и убеждать других в собственной правоте, ибо всем было известно, главное дело для него — достоинство театра и уважение к нему. В подтверждение этому приведем строки из воспоминаний И. Имедашвили:

«Похоронив мать, он в тот же вечер вышел на сцену. Это многих возмутило. Ведь его мать была не просто женщиной, которая вырастила его. Эта удивительная грузинка проявила поразительную твердость во время похорон мужа Дмитрия Кипиани. Власти запретили проносить тело мимо дворца наместника — полиция преградила путь процессии. Епископ Александр, растерявшись, подошел к вдове: калбатано Нино, покойник ваш, куда прикажете нести? И Нино, указав рукой на полицейский кордон, твердо ответила — несите прямо. В то время это было равносильно протесту против правительства, и, естественно, когда Котэ в день похорон матери вышел на сцену, это покорило нас. А Котэ сказал: я чту память своей матери и доставлю радость ее душе тем, что добросовестно исполню свой долг перед родной сценой и своими коллегами».

Котэ Кипиани принадлежал к той немногочисленной когорте актеров, которые не ограничивались чистым актерством, а пытались теоретически осмыслить свое творчество и творчество своих коллег, осмыслить общие закономерности театрального искусства. Их мысли о сценическом искусстве — важнейшая часть грузинского театрального мышления. Они ждут своего исследователя. В их работах отразилась грузинская театральная жизнь того времени, ее назначение и особенности. В 1885 году в журнале «Иверия» (№ 4—5) была опубликована статья К. Кипиани «Несколько слов о сценическом искусстве (его прошлое и настоящее)»; в 1895 г. — «Назначение театра». Раздумья К. Кипиани о театральном искусстве до сих пор полностью не изданы. Известны его драматургические произведения, которыми он в свое время обогатил репертуар грузинского театра — «Судьба Грузии», «Борьба», «Испытание», «Неужели не придет», «Цотнэ Дадиани» и др. Котэ Кипиани отдал театру все свои творческие силы. В статье «Назначение театра» он писал: «Театр — величайшая школа для человечества. Это не просто развлечение. Театр — это когда вместе собирается масса людей с разными взглядами, характерами, устремлениями, и эта масса плачет одинаковыми слезами, смеется одинаковым смехом... В этой школе человек приобретает многое из того, что развивает его ум, открывает новые горизонты».





Анджей ФУРЬЕР

## ОСЕТИНСКИЙ ВОПРОС

В 1994 году в Тбилиси на русском языке был издан сборник «Осетинский вопрос» (составители Акакий Бакрадзе и Омар Чубинидзе). Это, пожалуй, одно из немногих научно обоснованных, рассчитанных на широкие круги читателей издание, предпринятое грузинскими учеными в последние годы. Скромный тираж, к сожалению, не смог обеспечить сборнику желаемого резонанса на территории бывшего СССР. Поэтому нам вдвойне было приятно узнать, что польский ученый Анджей Фурьер откликнулся на тбилисское издание подробной рецензией, опубликованной в варшавском журнале «Sprawy Narodowosciowe», издаваемом Академией наук Польши. Мы предлагаем ее читателю с некоторыми сокращениями.

Генезис грузино-осетинского конфликта, его развитие малоизвестны в Польше. Мы, в основном, получаем информацию, предоставляемую русской прессой, которая явно придерживается проосетинской направленности. Поэтому аргументы второй стороны конфликта представляют несомненный интерес. Долгое время по вине самих грузин не существовало публикаций, в целом освещающих грузинскую точку зрения на проблему «Юго-Осетии». Этот недостаток восполняет сборник «Осетинский вопрос» — коллективный труд грузинских ученых. В сборнике опубликовано тринадцать статей. Мы заострим внимание на наиболее интересных из них.

«В апреле 1922 года по приказу из Москвы грузинские коммунисты подарили осетинам часть исконно грузинской земли (3,8 тысяч кв. км) и состряпали т. н. «Юго-Осетинскую АО». В истории не существовало «Южной Осетии» ни как географической, ни как политической реальности. Историческая родина осетин находится на Северном Кавказе. Естественная граница между Грузией и Осетией проходит по Кавказскому хребту. Этого не отрицает самый известный из осетинских ученых Василий Абаев («Независимая газета», 1992, № 13). Он и не может отрицать этого, ибо «Юго-Осетинская АО» — плод ленинской национальной политики, что, безусловно, известно В. Абаеву». Так начинается небольшая статья Акакия Бакра-



дзё, озаглавленная «Вместо предисловия». Выдвинутый им тезис подтверждается материалами сборника.

В статье «Южная Осетия — в Центральной Грузии?!» Вахтанг Итонишвили, кандидат исторических наук, задается вопросом, почему на территории маленькой Грузии коммунисты создали три автономные единицы (Юго-Осетинская, Абхазская и Аджарская), тогда как в России, площадь которой в 244 раза превосходит территорию Грузии, существовала лишь 31 автономия. По мнению В. Итонишвили, в этом виновата империалистическая политика России. Он указывает также на разницу между автономными единицами России (не оспаривая, впрочем, их статуса) и Грузии. Разница, по мнению автора, заключается в том, что в отличие от российских автономий, завоеванных силой или абсорбированных мирным путем, грузинские автономии созданы на территориях исторических провинций грузинского государства с целью искусственного отделения их от целостного грузинского государственного организма. Исторически феодальная Грузия была разделена на восемь основных провинций — Картли, Кахети, Месхети, Имерети, Самегрело, Гурия, Сванети и Абхазети (Абхазия). В. Итонишвили подчеркивает, что так называемая «Южная Осетия» представляет собой совокупность внушительной части историко-этнографической Картли (точнее, обширного субрегиона Картли — «Шида Картли», т. е. «Внутренней Картли»), Магран-Двалети (южного «осколка» области Двалети), Кснисхеви (горного уголка Ксанского ущелья), северо-восточной части Рачи и высокогорного участка Имерети. В. Итонишвили полемизирует с распространенным в последнее время даже в самой Грузии термином Самачабло, которым называют обычно территорию «Южной Осетии» (он идет от фамилии князей Мачабели из Ачабети). По мнению ученого, это название не оправдано, ибо, помимо земель, принадлежавших этому роду, в состав «Южной Осетии» вошли и большая часть Ксанского эриставства, Самилахваро, Савахтанго и т. д. Автор предлагает называть этот регион центральной частью Северной Грузии или Северной Грузией, считая тезис о существовании там южной части Осетии несерьезным. Однако возникает вопрос, откуда взялось само понятие «Южная Осетия»? В. Итонишвили утверждает, что это ошибочное название придумано не большевиками, оно возникло вместе с распространением российского правления на Кавказе на стыке XVIII и XIX веков. С 1830 г. появляется и оппозиционная топонимическая пара «Южная Осетия» и «Северная Осетия». К




этому времени российская администрация начала создавать первые осетинские административные единицы в Грузии: в 1843 году образование Осетинского округа, разделенного на три района, выделение Осетинского участка, входившего в Горийский уезд, и Цхинвальского участка. Отсюда — название «Нагорная или Южная Осетия».

Следующие пять статей сборника исследуют историю данной территории, подчеркивая ее исконные связи с Грузией. Эти статьи — компетентное и объективное подтверждение достижений грузинской научной мысли. Пожалуй, наиболее обстоятельна из них статья Ноэ Абхазава, старшего научного сотрудника Государственного музея Грузии им. Джанашия, «Культурно-этнические процессы в Северо-Западной части Шида Картли с древнейших времен до позднего средневековья». Анализ археологических материалов и обширной литературы привел автора к выводу, что этот регион является одним из центров древнегрузинской государственности. Эту мысль продолжает Джондо Гвасалиа («Шида Картли и осетинская проблема»). По его утверждению, Шида Картли — колыбель грузинской культуры и государственности. Очередные доказательства, подтверждающие этот тезис, мы находим в статье члена-корреспондента АН Грузии Пармена Закарая («К истории зодчества Шида Картли»), обзорающей памятники архитектуры этой территории, иллюстрированной многочисленными фотографиями. Автор подчеркивает не только факт грузинского происхождения всех памятников, но также и то, что в прошлом они подвергались разрушению осетинами. В следующей статье, посвященной памятникам материальной культуры этого региона («Эпиграфика в северной части Шида Картли»), автор Георгий Отхмезури описывает 33 эпиграфических памятника на грузинском языке, известных уже в научной литературе, снабжая их своими комментариями. Похожего обзорного характера и статья Кобы Харадзе «Происхождение и развитие топонимов Шида Картли», в которой подчеркивается грузинское происхождение названий местностей. Отмечается также факт переименования в последнее время старинных названий на землях, заселенных осетинами.

Большой интерес представляет статья Бахвы Гамкрелидзе «К вопросу о расселении осетин в Грузии», которая охватывает период с XVI по XIX век. Поселение осетин в Грузии началось в XVI веке и носило мирный характер. Осетины селились как «хизаны» — крепостные крестьяне. К этому времени они жили в относительном согласии с грузинами, доказа-





тельством чему является наличие смешанных грузино-осетинских семей. Однако колониальная политика царской, а впоследствии большевистской России отнюдь не способствовала миру и согласию между грузинами и осетинами. Эту мысль развивает кандидат экономических наук Анзор Тотадзе («Осетины на грузинской земле»), приводящий интересные статистические данные о процессе миграции осетин. Убедительным примером этого является динамика перемены национального состава нынешнего центра «Южной Осетии» — Цхинвали. По переписи 1886 года в этом городе жило 3832 человека, из них — 1135 — грузин, 1935 — евреев и 744 армянина. В 1922 году город насчитывал 4543 жителя, из них 613 осетин, 1436 грузин, 1651 — еврея, 765 — армян и 64 русских. Похожие пропорции сохранялись до 1926 года. И только по переписи 1959 года среди 21641 жителя Цхинвали осетины оказались в большинстве (12432), а грузин было только 4652. Увеличилась также численность русских до 1583 человек (евреи и армяне остались на прежнем уровне). Эти данные вполне подтверждают выдвинутый автором тезис. Говоря о грузино-осетинских отношениях, он подчеркивает, что в то время, как на территории Северной Осетии не было ни одной осетинской школы, в Грузии таких школ существовало 98 (в том числе 90 в бывшей АО). А. Тотадзе обращает внимание на факт стремительного роста численности осетин в Грузии в 1860—1880 годы. В первой половине XIX века число осетин в Грузии не превышало нескольких тысяч. В 1860 году их было уже 19000, а в течение следующих 20 лет это число увеличилось на 33 тысячи и достигло 52 тысяч, т. е. увеличилось в 2,7 раза. За этот самый период число осетин в Северной Осетии увеличилось только на 12 тысяч (с 47 тысяч в 1860 году до 59 тысяч в 1880 году), т. е. в 1,2 раза. По мнению автора, это свидетельствует о массовом переселении осетин на территорию Грузии в данный период. В итоге в XX веке число осетин в Грузии сначала достигло 113 тысяч (1926 год) и впоследствии, в 1989 году, 164 тысяч (из них 65 тысяч проживало на территории автономии).

Статья Вахтанга Итонишвили «Осетинщина» рассматривает грузино-осетинские отношения в развитии. Итонишвили обращает внимание на факт, что исследование нынешней стадии конфликта между двумя народами очень сложно, потому что в существующей литературе (советского периода) односторонне подчеркивались только положительные аспекты взаимных контактов. Факты взаимной вражды (например, события 1918—1921 годов) оценивались как классовый конфликт. Цензура и



конформистский подход к проблеме части грузинских ученых дали в итоге фальшивое и неверное представление об этих процессах. Поэтому в научной литературе и нет термина «осиано-ба» («осетинщина»), давно известного в народе и отразившего мрачную страницу в многовековой истории Грузии — набеги и захваты грузинской территории осетинами (со средневековья по XIX век), грабежи и разбои, этнодемографические и этногеографические изменения, противоречащие жизненным интересам коренного населения, и т. д. Многочисленные источники, называемые автором, позволяют сделать вывод, что «осетинщина» — это белое пятно в истории Грузии и как таковое требует внимательного исследования.

В какой-то степени ответом на постулаты В. Итонишвили является статья Соломона Лекишвили «Когда возник термин «Южная Осетия»?». Пытаясь ответить на этот вопрос, автор приходит к выводу, что в источниках он появился только в 30-х годах XIX века, появление его связано с политикой царизма — разделяй и властвуй. По мнению Лекишвили, не существует двух Осетий, как нет двух Франций, двух России или двух Украин.

Статья профессора ТГУ Автандила Ментешашвили («Осетинский сепаратизм в 1918—1920 годах») касается одного из самых трагических периодов в истории грузино-осетинских взаимоотношений. В Шида Каргли вспыхнули тогда три восстания под лозунгами установления Советской власти и присоединения «Южной Осетии» к РСФСР. Начало каждого из этих восстаний связано с моментами самой большой угрозы для независимости Грузинской республики: в марте 1918 года — период турецкой экспансии в Закавказье; осенью 1919 года — реальная угроза со стороны Деникина; весной 1920 года, когда к решающей борьбе за Закавказье приступили русские большевики, А. Ментешашвили подробно останавливается на последнем, самом кровавом из всех трех восстаний. Надо отметить, что, кроме источников грузинских и российских, автор использовал также документы, находящиеся в Грузинском архиве Гарвардского университета. Статья Ментешашвили снабжена приложением из 8 документов, представляющих осетинскую и грузинскую точки зрения на события 1920 года. Особый интерес вызывает документ № 8 из «Меморандума генерала И. Одишелидзе от 4 февраля 1920 года», в котором проанализирована военная обстановка на северной границе Грузии в начале 20-го года.

Вследствие падения меньшевистской Грузинской респуб-



лики в 1921 году к власти в стране пришли большевики, которые осуществляли политические цели России. Одной из них являлось образование осетинской автономии в Грузии — тема статьи профессора Левана Тоидзе. Говоря о создании русскими большевиками при помощи грузинских большевиков Юго-Осетинской АО, автор подчеркивает, что никто не посчитался с мнением грузин, проживавших на этой территории. В заключение им перечислено 40 грузинских деревень, которые оказались в пределах Юго-Осетинской автономии, а это 20000 грузин, тогда как число осетин составляло 1100 человек.

Завершает сборник статья Левана Матарадзе «О политико-правовых аспектах грузино-осетинского конфликта и возможностях его мирного урегулирования». Раздумывая о схожести и специфичности этнополитических конфликтов, автор анализирует конфликт в «Южной Осетии», начиная с так называемой «войны законов» (1990 год). Следует подчеркнуть, что на обострение обстановки повлиял уже существовавший конфликт между Москвой и Республикой Грузия. Как отмечает Л. Матарадзе, при урегулировании конфликта игнорировались нормы международного права.

Рецензируемая книга представляет грузинскую точку зрения на юго-осетинский конфликт. В ней приведены весьма интересные исторические и статистические материалы. Можно утверждать, что грузинские ученые уверенно доказывают принадлежность спорной территории Грузии, не соглашаясь с возможностью ее отделения. Этим, возможно, и объясняются прорывающиеся порой эмоции при подходе к теме; резкие формулировки, подчеркивание и многочисленные восклицания в тексте. Однако это ничуть не умаляет ценности сборника. Он ставит трудные нетрадиционные вопросы и пытается найти на них ответы.

Положительный момент сборника — обширный подбор источников и литературы, связанных с рассматриваемой проблемой. Мы узнаем ряд малоизвестных или вообще неизвестных фактов из истории грузино-осетинских отношений, освещаемых грузинской стороной. Большинство представленных в книге материалов ранее публиковалось на грузинском языке, естественно, круг читателей был весьма ограничен. На мой взгляд, было бы ошибкой обвинить грузинских ученых в односторонности представленных фактов. Внимательный читатель найдет в книге немало критических замечаний и в адрес самих грузин по поводу их отношения к осетинам.

Перевод с польского  
**Ирины ЗУРАБАШВИЛИ и Войцеха ГУРЕЦКОГО**



## «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ» – НОВЫЙ ОПЫТ «НЕЗАВИСИМОСТИ»

В декабре 1990 года в ответ на решение Верховного Совета Грузии об упразднении осетинской автономии Юго-Осетинская автономная область объявила о своей независимости. Верховный Совет в своем решении руководствовался тем, что Юго-Осетинская АО — искусственное, навязанное большевиками образование, утратившее в условиях построения независимого правового государства смысл и функцию.

Все это повлекло за собой вооруженное противостояние между грузинской и осетинской сторонами, и как следствие — многочисленные жертвы и разрушения. Несмотря на то, что и по сей день определенные силы пытаются представить этот конфликт как этнический, он выходит за его рамки и является конфликтом политическим, спровоцированным противниками распада СССР. Как бы еще одним подтверждением этому стали празднества в честь 7-летия независимости самопровозглашенной республики, состоявшиеся в сентябре прошлого года в Цхинвали. Они были организованы на средства российских коммунистов, ибо сама «Южная Осетия», находящаяся в тяжелом экономическом положении, вряд ли смогла бы себе позволить подобную роскошь.

На данном этапе в регионе царит относительный мир, которому способствовали российские, осетинские и грузинские миротворцы, несомненно сыгравшие позитивную роль в поверхностном урегулировании конфликта. Граждане грузинской и осетинской национальностей получили возможность беспрепятственно передвигаться как по внутренним регионам Грузии, так и за ее пределами, осуществлять торговые операции и восстанавливать прежние дружественные и добрососедские отношения.

Но в регионе явно ощущается присутствие России. 90 процентов делопроизводства ведется на русском языке, бюджет



«Южной Осетии» утверждается в Москве, Россия поставляет в регион энергоносители, на всей территории «Южной Осетии» в обращении находится единственная денежная единица — российский рубль. На русский язык ориентировано и образование — в регионе функционируют русские и осетинские школы, причем в осетинской школе обучение на национальном языке ведется до 5-го класса, а затем продолжается на русском. Здесь же следует отметить, что осетинские школы в «Южной Осетии» были открыты, когда она находилась в составе Грузии в качестве АО, тогда как в Северной Осетии в бытность СССР осетинских школ не было, как нет их там и сейчас.

К какой независимости стремится «Южная Осетия», пока определить трудно, поскольку на сегодняшний день имеются пять или шесть вариантов независимой государственности. Однако на повестке дня, в любом случае, стоит вопрос воссоединения с Северной Осетией, и обретение независимости на данном этапе — это шаг к воссоединению с северными осетинскими братьями. Впрочем, ни президент «Южной Осетии» Людвиг Чибиров, ни председатель парламента Коста Дзугаев не могут четко сформулировать, как им мыслится подобная независимость, поскольку Северная Осетия находится в составе России (и не думает выходить из нее), а «Южная Осетия» де-юре все еще находится в составе Грузии, несмотря на семь лет своей «независимости».

Большинство в парламенте «Южной Осетии» составляет коммунистическая партия. Видимо, поэтому в регионе до сих пор сохранилась советская символика типа «СССР — ОПЛОТ», «СЛАВА СОВЕТСКОМУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!» и т. д. Основным фактором политики «Южной Осетии» является ставка на Россию, о чем неоднократно заявляли ее нынешние лидеры. «Решая свои политические проблемы, мы, естественно, в первую очередь, ориентируемся на Россию, как на нашего гаранта. У нашего народа сложились исторические взаимоотношения дружбы и соседства в отличие от других народов бывшего Советского Союза. Осетия 200 лет назад добровольно присоединилась к России», — заявляет в своих интервью президент «Южной Осетии» Людвиг Чибиров. Северная Осетия, возможно, и стала частью России 200 лет назад, но «Южной Осетии» тогда не было в природе, и этот термин приобрел политическую подоплеку лишь в апреле 1922 года, в результате советизации Грузии и по воле Москвы.

Словом, политическая ориентация «Южной Осетии» совер-



шенно ясно, тем не менее грузино-осетинский конфликт ждёт своего окончательного решения. В этом направлении отмечаются положительные сдвиги как со стороны руководства Грузии, так и Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, а также всех участвующих в этом процессе заинтересованных сторон. В урегулировании грузино-осетинского конфликта особую роль также сыграла народная дипломатия, как важный фактор достижения межнационального соглашения.

Официальный переговорный процесс по полномасштабному урегулированию грузино-осетинского конфликта начался 5 марта прошлого года. Приняты соответствующие документы, подготавливаются проекты промежуточного соглашения, в ближайшее время планируется провести второй раунд переговоров. Однако в ходе переговорного процесса основное внимание уделяется экономическим проблемам и проблемам беженцев. Определение политического статуса «Южной Осетии» пока отложено, хотя председатель парламента Коста Дзугаев считает, что неопределённый статус является «одним из главных препятствий для экономического возрождения. Договор, который был подписан между Грузией и Россией об экономическом восстановлении «Южной Осетии», практически не выполняется». Иное мнение на этот счет у начальника Службы региональной политики и управления президента Грузии Бадри Хатидзе: «Руководство Грузии прикладывает немало усилий для разработки и осуществления проектов по реабилитации и восстановлению разрушенного хозяйства в зоне конфликта. С этой целью при Службе региональной политики и управления создан Координационный Совет, разработаны мероприятия по реабилитации инфраструктуры Цхинвальского региона до 2000 года. Средствами госбюджета республики в 1996 году в селе Приси Цхинвальского региона восстановлено 25 домов для грузинских и осетинских семей, в 1997 году приступили к восстановлению 50 домов. На восстановление жилья в текущем году предусмотрено выделить 1 млн. лари. УВКБ ООН с помощью неправительственных организаций осуществляет строительство 115 сборных домов, в 20 из которых уже справили новоселье. ООН, в соответствии с программой UNDP, выделила 2 млн. долларов США для восстановления инфраструктуры данного региона, а Евросоюз — 3,5 млн. экю. Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работы на Эдисском водопроводе, который снабжает водой не только Цхинвали, но и близлежащие



грузинские и осетинские села. Силами грузинских энергетиков и связистов восстановлены высоковольтные линии передачи электроэнергии».

Таким же образом не сходятся у сторон данные о положении беженцев. Так, председатель Госкомитета по делам национальностей и миграции «ЮО» Борис Чочиев, комментируя в газете «Южная Осетия» от 27 сентября 1997 года (орган парламента и правительства «ЮО») данные официального Тбилиси относительно состояния дел по возвращению беженцев, заявил, что «грузинская сторона преподносит их односторонне, упрощенно, искажая реальное соотношение количества беженцев и вернувшихся, намеренно преподнося отдельные разбросанные цифры, чтобы труднее создавалась общая картина происшедшего. Так, утверждение грузинской стороны, что в связи с обострением противостояния между грузинами и осетинами 20—25 тысяч граждан начали поиски безопасного пристанища за пределами страны не соответствует действительности, поскольку в миграционных службах Северной Осетии сейчас состоит на учете около 40 тысяч беженцев из Грузии. Что касается цифр возвратившихся, будто из 8326 выехавших из Шида Картли вернулось 2705 граждан, они далеки от точности». В своем комментарии Б. Чочиев заверяет, что грузинская сторона умалчивает об осетинах, покинувших Карельский район (географически входящий в Шида Картли). По его словам, их количество составляет 1977 семей, а вернулось всего несколько. Представляя картину в Боржомском районе, Чочиев заявляет, что «из 11 осетинских сел осталось всего несколько семей, в одно из них, по данным ОБСЕ на июнь 1996 года, вернулось всего 14 человек, которые даже сегодня не чувствуют себя в безопасности».

Согласно данным Службы региональной политики и управления президента Грузии по переписи 1989 года, в Шида Картли в 1989 году проживало 44552 гражданина осетинской национальности, из них во время конфликта свои дома покинуло 8326 человек (2059 семей). В настоящее время возвратилось 2706 (736 семей). В 11 селах Боржомского района проживало 3313 осетин, в ходе конфликта эмигрировало 1970 человек (480 семей). В настоящее время возвратилось 295 человек (89 семей). В Ахалгорский район возвратилось 415 человек (135 семей). В Кахетинском регионе в село Арешфераши Лагодехского района возвратилось 285 семей, в село Маграани Ахметско-



го района — 36 семей, а всего в данном районе проживает 4323 осетина.

По данным UNHCR, в Республике Северная Осетия-Алания проживает 28894 беженца.

По данным перерегистрации общее количество беженцев-грузин составляет 10840 человек, которые проживают в городах Тбилиси, Гори, Рустави, а также — в Мцхетском, Карельском, Горийском районах.

Процесс возвращения беженцев-грузин в места исконного проживания протекает медленнее, нежели осетин. На данном этапе беженцы возвращаются во Фронское ущелье.

Наличие грузин-беженцев осетинская сторона пытается объяснить тем, что грузины покидали зону ведения боевых действий, но отнюдь не по национальному признаку, как это было в случае с гражданами осетинской национальности, не объясняя, впрочем, что же мешает грузинам теперь возвращаться в свои дома.

Как тут не согласиться с мнением г-на Чочиева, что «от того, как и когда будет решаться вопрос возвращения беженцев в места прежнего проживания, восстановления их в правах на собственность, которой они были лишены, их обустройства во многом зависит в целом урегулирование грузино-осетинских отношений, восстановление доверия и добрососедства между двумя народами».

Среди прочих обвинений в адрес Грузии осетинская сторона выдвигает и то, что на сегодняшний день в Грузии пока нет гарантий безопасности возвращения беженцев, не отменен ни один законодательный акт, принятый по отношению к «ЮО» в 1990—1991 гг., не принят ни один официальный документ, где бы осуждалось случившееся.

В свою очередь, по данным официального Тбилиси, в соответствии с Соглашением о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанным президентами Грузии Э. Шеварднадзе и Российской Федерации Б. Ельциным в г. Сочи 24 июня 1992 года, Меморандумом о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте, Заявлением об итогах встречи, посвященной вопросу дальнейшего развития постоянного переговорного процесса полномасштабного урегулирования конфликта в рамках Владикавказских договоренностей, Парламентом Грузии принят ряд законодательных актов, в том числе — закон об беженцах и вынужденно перемещенных ли-



цах», издан Указ Президента Грузии «О некоторых мерах по урегулированию миграционных процессов в Грузии», способствующий укреплению процесса мирного урегулирования данного конфликта и возвращению беженцев в места их постоянного проживания.

Обвинения осетинской стороны, похоже, не иссякнут до тех пор, пока она будет ощущать поддержку определенных кругов со стороны России, которая, кстати, в последнее время стала несколько ослабевать из-за протекающих там тяжелых экономических и политических процессов. В частности, Россия уже приостановила финансовую помощь осетинским беженцам из Грузии, также периодически прекращает подачу электроэнергии в регион из-за больших задолженностей, что ставит «ЮО» и без того в трудные условия.

Тбилиси же, несмотря на некоторые некорректные действия со стороны «юго-осетинских» властей, последовательно проводит свою политику. Так, 8—9 декабря 1997 года во время визита российской правительственной делегации грузинская сторона обязалась в течение I квартала 1998 г. проработать и представить предложения о сроках и порядке погашения задолженности, образовавшейся в 1992—1996 гг. за поставленную в Грузию (Абхазская автономная республика, Цхинвальский регион) электроэнергию, которая по данным РАО ЕЭС составляет 36,2 млн. долларов США, отсюда 10 млн. долларов приходится на Цхинвальский регион.

В первом же квартале 1998 года должно было быть подготовлено межправительственное Соглашение о продолжении финансирования по восстановлению районов, пострадавших в ходе грузино-осетинского конфликта.

На Джавской встрече (14 ноября 1997 года) 1998 год был объявлен годом возвращения беженцев в регион. Процесс начался, и еще одним подтверждением его необратимости служат слова Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, сказанные им в Докладе о внутреннем и внешнем политическом и экономическом положении страны на заседании парламента Грузии 3 февраля 1998 года: «Для ускорения процесса примирения грузин и осетин существуют серьезные ресурсы. В этом деле, бесспорно, большую роль сыграли руководство России, миротворческие силы, представители Северной Осетии-Алании. Приветствую готовность Людвиг Чибирова и его единомышленников к развитию двустороннего диалога. Особо отмечу совместные мероприятия ведомств и территориальных еди-



ниц, контакты парламентариев Фактически возродилась жизнь в тех селах и населенных пунктах, где раньше вместе трудились и проживали грузины и осетины. Разумеется, главное еще предстоит сделать, народ должен возвратиться к своим очагам, надо решить вопрос статуса. В этом активно помогают и представители ОБСЕ. Это важно.

Если будет добрая воля обеих сторон, до желаемой цели, может, и недалеко. Имеются все возможности для того, чтобы разрешение грузино-осетинского конфликта стало первой ласточкой достойного примирения противостоящих сторон на Кавказе и в более широком масштабе. Мы все хотим, чтобы эта кровавая страница как можно быстрее стерлась в истории многовековой дружбы и братства грузин и осетин».





Лео ГАБУНИЯ

## ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

### ВСТРЕЧА С НЕИЗВЕСТНЫМ МУЗЫКАНТОМ

Как-то на вечере памяти замечательного художника Елены Ахвледиани ко мне обратились с просьбой сказать несколько слов о моем отношении к музыке. «Просто расскажите о своей любви к музыке», — предложили мне устроители вечера. Объясняться в любви, да еще публично — дело непростое. Я предпочел воздержаться от выступления. Но от неожиданно нахлынувших воспоминаний мне уже не удалось отмахнуться и, после некоторого колебания, я решил довериться бумаге и поведать читателям одну старую историю, также связанную с именем Елены Ахвледиани, тезкой знаменитого художника...

Это было тяжелое послевоенное время. Меня, в то время аспиранта первого года обучения, командировали в Казахстан для сбора материала по третичным моллюскам Приаралья. Но поездка имела и другую, гораздо более важную цель. В Приаралье, в селении Л., находилась в ссылке (на так называемом свободном поселении) моя старая и уже очень больная бабушка — Елена Александровна Ахвледиани. Срок ссылки уже истек. Нужно было везти ее домой. Не буду рассказывать о трудностях, связанных с получением в Тбилиси разрешения на выезд бабушки из Л. и возвращение ее в Грузию. Это — долгая история. Так или иначе, я разыскал бабушку, и после мучительных мытарств мы собрались с ней в дорогу.

От селения Л. до железнодорожной станции дорольно долгий путь, и, когда мы кое-как добрались до вокзала, выяснилось, что московский поезд давно уже ушел. Нам предстояла ночевка на пыльной, грязной, заполненной народом привокзальной площади.

Стояла страшная жара. В здании вокзала не то, чтобы присесть, — стоять было негде. Я метался в поисках места,



где бабушка могла укрыться от палящих лучей солнца. Ветеру толпились люди разных национальностей, по несколько дней ожидавшие своих поездов. Стоял невообразимый гомон. Плакали дети, без конца суетились и толкались взрослые, кругом мелькали лица опечаленных, озабоченных людей.

Мог ли я подумать, что в этой разноголосой и разноязычной толпе кто-то обратит на нас внимание? Нетрудно себе представить, как я был удивлен, когда голубоглазая светловолосая девушка обратилась ко мне по-грузински. Она назвалась Магдой и тут же познакомила нас со своим отцом — высоким и очень худым, чуть сутулым и, как тогда мне показалось, пожилым мужчиной. Выяснилось, что это были высланные из Грузии немцы. Отец играл на пианино в привокзальной столовой, а дочь работала там уборщицей. Эти посланные нам Богом отец и дочь стали опекать нас. Нашли свободный уголок в столовой, а когда для бабушки раздобыли и стул, я облегченно вздохнул. Казалось, не было вокруг человека счастливее меня.


С наступлением сумерек в привокзальной столовой, где подавали хамсу и водку, начался рабочий день немецкого музыканта.

Сначала мы стали свидетелями настоящего светопреставления. Вихрем ворвавшиеся в столовую молодые ингуши и чеченцы без конца заставляли музыканта играть лезгинку на дребезжащем пианино. Сами же кружились в таком нарастающем, бешеном темпе, что невозможно было различить их лица. Приглашая друг друга к танцу, они плясали с таким неистовством и остервенением, словно пытались заглушить в танце безысходную тоску по родной земле. Сидящие в зале казахи и русские, корейцы и немцы как зачарованные следили за этой необычной пляской. Лишь изредка кое-кто из них невольным возгласом подзадоривал соревнующихся в танце горцев. Одни пары сменялись другими, и казалось, нет предела восторгу танцующих... И вдруг неожиданно танец прервался. Танцующие как-то сразу сникли, притихли и стали молча расходиться. Все завершилось так же быстро, как и началось.

Через некоторое время с музыкантом и его дочерью попрощался и буфетчик. В опустевшей столовой нас осталось четверо: немецкий музыкант, его дочь, бабушка и я.

И вот тогда произошло нечто такое, что навсегда запечатлелось в моей памяти. Не проронив ни слова, отец Магды вновь подсел к пианино, и полились необыкновенно красивые, светлые и печальные звуки проникающей в душу мелодии. Форте-





пиано уже не казалось расстроенным, духота и беспросветность обстановки уже не теснили грудь. Предо мной открылся сказочный мир сладостных грез, а облезлую привокзальную столовую озарил яркий отблеск чудесных музыкальных образов. Не могу сказать точно, что исполнял наш музыкант. Думается, это была проникновенная импровизация на темы песен Шуберта. Главным было однако то, что в заброшенном уголке казахской степи судьба столкнула нас с замечательным артистом, почувствовавшим, возможно, что его слушают истинные почитатели высокого искусства. Видимо, у него возникло неудержимое желание выразить свои переживания на райском языке музыки, и он щедро делился ими. Играл он удивительно просто и как-то отрешенно. Играл долго, проникновенно. Только под конец я заметил, как беззвучно плакала Магда, глотая горькие слезы. «С нами Бог», — проговорила тихо бабушка (она лишь в исключительных случаях вспоминала Бога). Всесильный Бог действительно был тогда с нами. И звали его — Музыка.

Этот маленький рассказ относится ко времени второго посещения места ссылки бабушки, и к нему я еще вернусь. А предшествовала ему довоенная поездка, о которой, мне кажется, также стоит вспомнить.

## НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР

Лето 1939-го было необычайно жарким в Приаралье. Пассажиры буквально задохнулись в раскаленных вагонах. Они выскакивали из поезда на каждой остановке, чтобы глотнуть свежего воздуха. А когда поезд, помнится, остановился у какой-то лужицы (прудом ее никак нельзя было назвать), некоторые бросились в нее, не раздеваясь.

До захода солнца было еще далеко, когда мы приблизились к станции К. Только я вышел из поезда, как он тронулся. Я не смог его догнать. Очутившись в совершенно безлюдной местности, я стал озираться по сторонам, словно рассчитывал на чью-то помощь или ожидал увидеть кого-нибудь из встречающих, а потом побрел в направлении небольшой привокзальной площади. К счастью, здесь я повстречал старого казаха, который вывел меня на проселочную дорогу, ведущую в К. «Отсюда до К. будет около десяти верст», — сказал он. Пройти этот путь оказалось, однако, легче, чем добраться по единственной в селе бесконечно длинной улице до пристанища бабушки Елены. Ну, вот и улица Сталина, дом 123. Мог ли я



забыть адрес, по которому мы в конце каждого месяца посылали с трудом накопленные рубли. И можно ли было не вспомнить, как мы метались в отчаянии, когда не удавалось раздобыть этих денег для бабушки.

Женщина средних лет встретила меня с улыбкой.

Вы внук Елены-ханум? Ждали вас утром. Дилю и Мансур пошли вас встречать, но им сказали, что поезд очень опаздывает, и они вернулись домой. «Дилю!» — крикнула она кому-то, добавив несколько слов на непонятном мне языке. Из глинобитной хаты тотчас же выскочила девушка со смеющимися глазами и направилась к стоящему неподалеку деревянному строению. Но войти туда ей не понадобилось. На крыльце уже стояла бабушка: высокая, безукоризненно прямая, по-прежнему строгая и не улыбочивая. Она как-то странно всматривалась в меня и не двигалась с места. Мне не было и шестнадцати, когда ее так поспешно забрали той злополучной ночью, и с тех пор я, вероятно, порядком изменился. Бросив на землю свои пожитки, я подбежал к бабушке и обнял ее.

— Леоника (так называла она меня в детстве), побудем немного здесь, познакомлю тебя с близкими соседями, — сказала она так тихо, что я еле расслышал ее слова.

Между тем, весть о том, что к Елене Александровне Ахведиани приехал внук, разлетелась с молниеносной быстротой. Люди окружили наш двор. Одни здоровались со мной за руку, другие приветствовали издали. Бабушка устроила мне поистине королевский прием.

«Графиня, поздравляю вас с приездом внука!» — услышал я вдруг в этом хоре приветствий. Заметив мое удивление, бабушка тут же пояснила: «Меня и Софью Алексеевну здесь нарекли графинями». И как бы невзначай добавила: «Впрочем, Софья Алексеевна (ты скоро познакомишься с ней) — графиня Воронцова». Что же касается самой бабушки, то судя по тому, каким тоном были произнесены эти слова, мне, конечно, не следовало забывать о ее знатном дворянском происхождении.

К тому времени лучи заходящего солнца окрасили необычный для меня ландшафт в какой-то нереальный сказочный цвет, и удивительно быстро, почти сразу, стемнело. Соседи разошлись, а мы с бабушкой вошли в ее малюсенькую комнату. Только тут она вдруг расплакалась. Я впервые видел слезы на глазах этой строгой и, как мне всегда казалось, немного высокомерной женщины. Однако она моментально спохватилась и, повернувшись ко мне спиной, направилась к стоявшей на та-



буретке керосинке. «Сейчас напою тебя чаем и дам чего-нибудь поесть, а потом не спеша расскажешь обо всем, что было за эти два года», — сказала она, не оборачиваясь в мою сторону.

— Можно к вам, Елена Александровна? — раздался в это время женский голос и одновременно кто-то тихо постучал в открытую дверь.

— Конечно, Софья Алексеевна. Познакомьтесь с моим внуком. Поцелуй ей руку, — добавила бабушка шепотом по-грузински, и в ее голосе слышались прежние, не допускающие пререканий нотки.

Неудивительно, что восемнадцатилетний комсомолец не имел особых навыков галантности. Я как-то очень неловко приложился к сморщенной руке г-жи Воронцовой. Она ласково улыбнулась мне и вновь обратилась к бабушке.

— Я узнала, что к вам приехал внук. Думала даже нарушить наш каждодневный ритуал, но так захотелось поскорее познакомиться с нашим юным гостем (он ведь и наш гость!), что меня безудержно потянуло к вам. По дороге я и Меркурию Петровичу сообщила о приезде вашего Лео. Вероятно, он с минуты на минуту будет здесь. Знаете, молодой человек, — обратилась Воронцова уже ко мне, — если я сегодня жива, то обязана этим Меркурию Петровичу. Профессор Адаменко наш ангел-хранитель. О таком домашнем враче в Киеве нельзя было даже мечтать. Правда, его лишили звания, но ведь от этого он не стал лечить хуже?! Огромный опыт и знания остались при нем.

Софья Алексеевна была такой же ухоженной и строгой старой дамой, как и бабушка Елена, но выглядела более слабой и утомленной. На ней было темно-серое платье с кружевным воротничком и белыми манжетами. Старомодная прическа изящно обрамляла ее немного вытянутое бледное лицо. Она как-то застенчиво улыбнулась и протянула бабушке небольшой пакетик: — Мой обычный паек, — сказала она. Но бабушка не взяла его. — Сегодня угощает мой внук, — заметила она не без гордости, — сохраните это на завтра.

В это время опять постучали в дверь, и бабушка пошла навстречу невысокому мужчине в пенсне.

— Прошу вас, Меркурий Петрович! Знакомьтесь, мой внук.

Аккуратно одетый щупленький старик энергично потряс мою руку.

— Вы первая ласточка из страны наших грез, — сказал



он мне и протянул бабушке пакетик, который был возвращен ему так же, как и пакетик Воронцовой.

— Елена Александровна, — обратился он к бабушке, — сначала подумал, что нам не стоило сегодня вас тревожить, но можно ли было не разделить с вами радость долгожданной встречи с внуком? Однако сегодня мы не будем читать наши любимые библейские притчи и совсем ненадолго задержимся у вас. Верно, Софи?

— Разумеется, — поспешила подтвердить Воронцова.

Бабушка начала накрывать на стол. — Я ни минуты не сомневалась в том, что они тут же примчатся, — вполголоса сказала она мне по-грузински.

— Вы, конечно, были уверены в том, что мы сегодня же к вам заглянем, — заметил, улыбаясь, Адаменко.

— Кудесник, — вновь по-грузински сказала бабушка.

— Елена Александровна утверждает, что я волшебник и маг, — объяснил Адаменко Воронцовой значение грузинского слова, и она от души рассмеялась.

У меня возникло ощущение, будто я присутствую на театральном представлении. При слабом освещении стеариновых свечей три персонажа из начала века, казалось, воскреснув из мертвых, мирно попивали чай, развлекая себя светским разговором. Сначала справились о здоровье друг друга, затем заговорили о знакомых, потом перешли на отвлеченные темы. Кто помнил обо мне? Кто интересовался мною?

Впрочем, профессор Адаменко все-таки задал мне один риторический вопрос, на который сам же и ответил.

— Скажите, Лео, вам нравится здешняя природа? Согласитесь, в ней есть свое обаяние, — произнес он, обращая взор к окну, за которым виднелись лишь темные силуэты изгороди одного из соседних домов. — Хотя я и брюзжу, что, мол, и зима здесь суровая, и лето невыносимо жаркое, а мне тут нравится.

— Да, конечно, здесь так чудесно, — иронически встала Воронцова.

— Вы смеетесь, Софи, а мне тут действительно нравится, — продолжал Адаменко, — бескрайний простор, необозримая ширь, четкая линия горизонта. Как на море.

Сравнив знойную казахскую степь с морем, Адаменко решил, по-видимому, не испытывать более терпения дам и переключил тему разговора.

— А знаете ли вы, за что я попал сюда? — продолжал он. — Вся беда в том, что я любил вмешиваться не в свое де-



ло. Вообразив, что наша система здравоохранения нуждается в коренной перестройке, я выступил против создания специального управления для лечения ответственных работников и членов их семей; я полагал, что лекарства одинаково нужны всем — как ответственным работникам, так и простым смертным, — и во всеуслышание заявил, что учреждение так называемой лечкомиссии — чудовищное извращение принципов равноправия и демократии. Впрочем, я, конечно, не предполагал, что мои скромные протесты против создания этой комиссии навлекут на мою голову столько несчастий.

— Меркурий Петрович был и остается гражданином будущего, — заметила с мягкой улыбкой Воронцова. — Вы рано родились, сударь. — обратилась она к Адаменко, — и не удивительно, что не можете смириться с неурядицами строящегося социализма.

— В другое время я бы стал спорить с вами, Софи, — ответил ей Адаменко, — ведь не надо быть идеалистом, чтобы не соглашаться с явной несправедливостью. Но сегодня я готов признать несостоятельность своей позиции, так как незаметно для себя сам попираю принципы демократии.

— Он с ума меня сведет, — пробурчала по-грузински бабушка.

— Нет, Елена Александровна, я не преувеличиваю, — Адаменко попытался снова расшифровать смысл бабушкиной реплики. — Я давно уже пришел к убеждению, что любое публичное заявление или требование есть не что иное, как попытка навязать другому свою мысль, ущемить чью-то свободу. Ты так считаешь? Так думай про себя, никто тебя не неволит. О, теперь я бы воздержался от своих безапелляционных заявлений.

— Вы, по крайней мере, покушались на свободу и основы демократии, — сказала ему, посмеиваясь, Воронцова, — а как быть нам, Елене Александровне и мне? За что же мы пострадали? Нам даже нечем себя утешить.

Адаменко вдруг сделался совершенно серьезным.

— Понимаете, — сказал он, — в конце концов, вы обычные жертвы нынешних плеев, воображающих, что всякие связи с капиталистическим миром — тяжелейший грех. Вы общались с русскими и грузинскими эмигрантами, упивались душераздирающими романсами Вертинского, а они все без исключения — шпионы (бабушка Елена прожила около семнадцати лет в Китае, где мой дедушка был довольно крупным



предпринимателем. Там они, естественно, общались с белоэмигрантами).

— Все это не совсем так, — возразила бабушка, мне многое казалось неприемлемым в советской стране. Должно быть, за это я и поплатилась.

— Бог с вами, Элен, о чем вы говорите? Вы ведь не боролись против советской власти! — не на шутку рассердилась Воронцова.

— Вот вы и признали себя виновными, — посмеиваясь, заметил Адаменко, — но не думайте, пожалуйста, что плебеи не замечали нашего отношения к Советскому государству. Их плебейство как раз в том и заключается, что они слишком строго судили вас. Они были не в состоянии понять, что вы и вам подобные не представляли для них никакой опасности.

— Мы совсем заморочили голову мальчику, — спохватилась вдруг Воронцова.

— Лучше вам забыть все, о чем здесь говорилось, — сказал мне профессор Адаменко. — Ведь единственной привилегией нашего пребывания в ссылке является как раз то, что в этом тесном кругу мы не избегаем необдуманных слов и нередко высказываем весьма смелые и спорные мысли, — заключил он с извиняющимся видом.

Сегодня я вспоминаю этот вечер как сон, как нечто нереальное, где-то прочитанное; как историю, участником которой был вовсе не я, а кто-то другой. В ту ночь мы почти не спали. Бабушка с жадностью слушала мой рассказ, изредка перебивая меня и требуя повторения того или иного эпизода нашей тбилисской жизни. Однако о том, что пережила за это время сама, не проронила ни слова.

Рано утром мы с бабушкой зашли за Воронцовой (это было частью установившегося здесь ритуала) и пошли вместе покупать хлеб. У хлебного ларька выстроилась огромная очередь. Все кланялись нам и уступали дорогу. Чувствовал я себя весьма неловко. Бабушка попыталась меня успокоить: — Ты редкий гость, прибывший к нам с дальнего берега. Что же касается нас, то, понимаешь, графиням (справедливости ради надо сказать, что, произнеся слово «графиня», она едва заметно улыбнулась) не подобает стоять в очереди...

О, да, я хорошо понимал, что никакая ссылка не могла изменить бабушку Елену.

Когда спустя шесть лет я снова посетил бабушку в Казахстане, то уже не застал в живых ни Воронцову, ни Адаменко.



## ВОЗВРАЩЕНИЕ



Истекало время моего пребывания в Казахстане. Я снова побывал у старшего лейтенанта Тимченко, но ничего обнадеживающего от него не узнал. «Никаких указаний насчет вашей бабушки», — повторял он мне уже в который раз. А ведь прошло около двух месяцев с тех пор, как мама добилась для нее разрешения на въезд в Грузию (хотя и без права жительства в Тбилиси).

Между тем бабушка энергично готовилась. Она так деловито укладывала вещи, будто разрешение было у нее в кармане. Я с трудом скрывал досаду, вызванную ее чрезмерной уверенностью в быстром завершении дела.

Я ломал голову — как мне быть? Мог ли я опять оставить престарелую бабушку одну в Казахстане? Я искал и не находил выхода из этого отчаянного положения.

А не попытаться ли еще раз продлить командировку? Но ведь это почти невозможно. То, что кончаются талоны на хлеб, — это еще полбеды, выдержим несколько дней без хлеба. Но как знать, идет ли речь лишь о нескольких днях?

Так я размышлял, возвращаясь из милиции. Погруженный в мрачные мысли, я приблизился к калитке нашего двора. Вдруг меня кто-то громко окликнул: — Габуня, товарищ Габуня! — Обернувшись, я увидел приближавшегося ко мне старшего лейтенанта Тимченко, махавшего листом бумаги.

— Не успели вы выйти, — крикнул он, — как мне принесли пакет, в котором находилось разрешение на выезд для вашей бабушки.

Мог бы и не говорить. Все это было написано у него на лице. Сердце преисполнилось благодарности: оказывается, этот, как мне казалось, холодный и непроницаемый старший лейтенант милиции сочувствовал моей бабушке.

На другой же день мы пустились в путь.

— Сколько вещей ты набрала? Что такое везешь? — упрекнул я бабушку, увидев нагруженного всевозможным скарбом ослика.

— Не вмешивайся не в свое дело, — спокойно ответила бабушка.

— Ну зачем тебе этот старый чайник? — не унимался я.

Не удостоив меня вниманием, бабушка оперлась на свою палку, окинула беглым взглядом все вокруг и, не оглядываясь, двинулась в путь. Что же касается маленького коричневого чайника, то мы и сегодня храним его как семейную реликвию.



Хозяйка с детьми и две-три соседки молча проводили нас до околицы. Каждый почтительно попрощался с бабушкой за руку, а заплаканная Дилю (хозяйская дочка) осыпала, поцелуями ее лицо и руки.

На поезд мы опоздали. После трудной, но запомнившейся на всю жизнь ночи ожидания уже знакомые читателю Магда и ее отец буквально втолкнули нас в переполненный пассажирами вагон московского поезда, который останавливался здесь всего на несколько минут. Бабушкины пожитки нам забрасывали уже в тронувшийся поезд.

Малорослый моложавый проводник всю раскричался.

— Вы же видите, стоять здесь негде?! И самым бессовестным образом врываетесь без билета в вагон!.. Я высажу вас на ближайшей же остановке!..

Этого уже бабушка не смогла снести. Она так разгневалась и так недвусмысленно стала размахивать своей палкой, что я счел благоразумным загородить собою проводника.

— Я восемь лет ждала дня, когда мне разрешат покинуть эту проклятую пустыню, и теперь, когда, наконец, настал этот час, ты здесь о каких-то билетах твердишь?! И еще оскорбляешь меня? Да я сама тебя высажу, мальчишка!

Воцарилась тишина. Удивленный, несколько обескураженный проводник вопросительно взглянул на меня и, видимо, прочел на моем лице выражение таких мук, что безропотно удалился. — Кого только не встретишь в этом сумасшедшем поезде, — бурчал он вполголоса, а потом уже громко добавил, что через три часа будет большая станция, где поезд стоит долго и можно будет приобрести билеты.

Так началось наше путешествие. Я понемногу приходил в себя, не подозревая, однако, что бабушка все еще негодует и не может успокоиться. Мы медленно, с трудом пробирались вперед в битком набитом вагоне. О сидячем месте не приходилось и мечтать. Я искал лишь более или менее свободный уголок, где можно было бы сложить наши пожитки. Неожиданно бабушка стукнула палкой об пол.

— Молодой человек, — обратилась она к кому-то повелительно, — вы разве не видите, что перед вами старая женщина, которая едва держится на ногах. Уступите, пожалуйста, место!

«Лучше бы мне провалиться сквозь землю», — подумал я про себя, а когда с опаской бросил взгляд на «молодого человека», меня охватил ужас. У него было лицо отъявленного бандита. К счастью, однако, и этот инцидент был неожиданно бы-



стро́ исчерпан. «Бандит» сначала взглянул на бабушку с каким-то отсутствующим видом, а потом встал и молча удалился. Бабушка окинула торжествующим взором теснившихся вокруг пассажиров и тут же начала заботиться обо мне: придвинула к своим ногам сверток, который она, между прочим, особенно оберегала, и усадила меня на него. На ближайшей узловой станции мне действительно удалось приобрести билеты, оттуда же я послал телеграмму в Москву старому другу отца -- Самуилу Моисеевичу Ружанскому.

На восьмой день, совершенно изнеможенные от бессонницы и духоты, мы наконец добрались до Москвы. Вся семья Ружанских — Самуил Моисеевич, его жена Хая и дочь Нэма — встретили нас на перроне Курского вокзала. Они отвезли нас домой, накормили, напоили и уложили спать. Кажется, мы проспали более шестнадцати часов. Никогда не забыть той сердечности и душевной теплоты, которыми окружили нас Ружанские.

Приближалось время нашего отъезда из Москвы. Я с трудом достал билеты на самолет (на поезд было еще сложнее — надо было записаться за месяц). Узнав об этом, бабушка очень расстроилась. — Я перенесла столько несчастий на этой грешной земле, и ты решил подвергнуть меня испытанию еще и в небе! — запомнился ее упрек. Она никогда не видела вблизи самолета и неудивительно, что при мысли о полете ее охватил неописуемый ужас. Пришлось долго уговаривать и успокаивать ее.

Ружанские проводили нас в аэропорт. После недолгого прощания, во время которого бабушка с трудом сдерживала слезы, мы уселись в так называемый транспортный самолет с двумя продольными рядами сидений, который немного пробежал по зеленой травке и как-то сразу оторвался от московской земли. Сначала бабушка явно волновалась, пребывая в каком-то оцепенении, но потом стала внимательно присматриваться к пассажирам, обнаружив, что мне плохо (в ранней молодости я не выносил качки), сразу успокоилась и, как мне показалось, не без некоторого ехидства (дескать, нашелся герой, еще уговаривал меня лететь!) начала ухаживать за мной.

Мы заночевали в Краснодаре, а на другой день беспрепятственно долетели до Тбилиси. Мама устроила нам роскошную встречу. Ей удалось каким-то образом нанять легковую машину, которую мрачного вида шофер подал прямо к трапу.

При виде бабушки моя двоюродная сестра Лена разрыдалась. Да и бабушка не сдерживала слез. А мама стояла как



вкопанная, вся бледная, утратившая дар речи. Я помог ей сдвинуться с места и усадил в машину. Наконец мы тронулись. Когда машина свернула на улицу Сулхан-Саба Орбелиани, я издали заметил младших внуков бабушки (моих брата и сестру и двоюродных братьев), с нетерпением ожидавших нас у подъезда. Не успела машина остановиться, как они обступили бабушку со всех сторон. Окруженная внуками, до слез растроганная бабушка Елена первая переступила порог дома, откуда ее увезли более восьми лет назад.

— Где же пятый сверток? — раздался вдруг тревожный голос бабушки.

Пятый сверток, оказывается, тот самый, который бабушка всю дорогу так берегла, исчез, а искать его было негде — машина уже уехала. Бабушка места себе не находила. Она была так расстроена, что ни о чем не хотела говорить, словно забыв о том, что всего несколько минут тому назад встретила с дочерью и внуками, которых не видела целую вечность (с младшими из них она фактически только что познакомилась, так как они были очень малы, когда ее забрали). Мы всячески старались ее утешить, но когда сядили за обеденный стол, она все еще сокрушалась по поводу пропажи. В это время раздался автомобильный гудок. Почти всей семьей мы высыпали на улицу. Выяснилось, что наш мрачный водитель, обнаружив застрявший в багажнике сверток, привез его нам.

Бабушка собственноручно развязала сверток, откуда стала извлекать накопленные на протяжении многих лет подарки для внуков: узбекскую тюбетейку, казахский пояс, какую-то пеструю подушку, дешевые украшения и игрушки.

Не с пустыми руками вернулась Елена Ахвледзани из ссылки!

В последующие дни у нас в доме побывало много гостей. Удивительным образом уцелевшие и видавшие виды старики и старушки приходили поздравить бабушку с возвращением домой. Вспоминали прошлое, а потом тихо, незаметно уходили. Запомнился визит друга молодости бабушки, известного в свое время остряка и балагура Сергея Эристави.

Прошло пять или шесть лет. Бабушка стала чаще болеть, но никак не мирилась со старостью и пыталась по-прежнему верховодить в семье.

Довольно бодро выглядела она и в тот самый осенний вечер, когда к нам неожиданно заявился молодой лейтенант и справился о месте жительства Елены Александровны Ахвледзани.



— Это я, — ответила несколько удивленная и встревоженная бабушка.

— Я принес вам хорошую весть, — заулыбался лейтенант, протягивая ей сложенную вдвое бумажку.

— Что это? — спросила недоверчиво бабушка.

— Реабилитация! — ответил расплывшийся в улыбке лейтенант.

— Что за реабилитация?! — в тоне бабушки чувствовалось некоторое недовольство. — А ну скажите, пожалуйста, о чем там говорится.

— Специальное расследование установило, что вы были несправедливо осуждены, никакой вины за вами нет и вас полностью реабилитировали, — ознакомил он ее с содержанием письменного уведомления.

— То есть как это нет никакой вины! — бабушка настолько разволновалась, что вынуждена была присесть. — По-вашему, меня зря держали на протяжении стольких лет в этом созданном вами аду? Вы понимаете, молодой человек, о чем толкуете?! Слышите, — обратилась она к нам, — оказывается, я ни в чем не виновата.

Пораженный лейтенант растерянно уставился на нас.

— При чем тут он, бабушка, чего ты от него хочешь? — попробовал я вмешаться.

— То есть как это чего? Говорит, что принес радостную весть, тоже мне радость!.. Как ваша фамилия, молодой человек? — неожиданно спросила она явно удивленного и расстроенного офицера, пролепетавшего в ответ что-то невнятное.

— Назовите же свою фамилию, — не унималась бабушка.

— Будь она проклята, моя фамилия, — ответил раздосадованный лейтенант — Транкадзе я, Транкадзе... (Дело в том, что очень редная фамилия Транкадзе созвучна с одним неприличным грузинским словом).

Бабушка сразу смягчилась.

— Так вот, дорогой мой Транкадзе, — уже сочувственно обратилась к нему бабушка, — присаживайтесь, пожалуйста. Поужинаем вместе и продолжим нашу беседу.

Выражаясь на языке дипломатов, вторая половина встречи с лейтенантом Транкадзе прошла в теплой, дружеской обстановке.

Через несколько дней бабушка вручила мне справку о реабилитации: «Сохрани на память обо мне», — добавила она с усмешкой.



Амиран АРАБУЛИ

## «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ»

(ТАИНСТВЕННОСТЬ СМЕРТИ)

Отношение человека к смерти, его прикосновение к старой как мир, но неизменно волнующей дилемме — быть или не быть, раздумья о ненадежности и скоротечности жизни с удивительной поэтической выразительностью проявляются в причитаниях, в грузинской народной траурной поэзии вообще.

Эта область фольклора открывает широкие возможности для беседы о жизненном опыте, философских суждениях, о выработанных «траурными стихотворцами» взглядах на нестареющую проблему жизни и смерти.

Бесценные творения наших безымянных поэтов с их предельно простыми, но проникающими в самое сердце образами по праву соперничают с пространными научными трудами или философскими трактатами, посвященными этой теме.

В поэтических строках плакальщиков или авторов траурных стихов и эпитафий проявляются сущность, лицо и характер смерти, так и не познанной до конца родом человеческим, и именуемой «копьем плоти»...

В поэтических образцах плакальщиков очерчиваются вполне определенные контуры эмоционального отношения лирического героя или плакальщика к смерти. Имеется в виду долгий путь, который прошел плакальщик от проклятий всесокрушающей смерти до ее приятия-признания как естественного и потому закономерного явления. Более того — до ее благословения.

Как представляет себе плакальщик образ смерти? Воспринимает ли ее как абстрактную ирреальную силу или как визуальный, материальный субъект?

Осмысление этих вопросов и ознакомление с соответствующим фактическим материалом приводит нас к мысли, что плакальщик ощущает смерть как реальность — видимое глазами одушевленное существо.



Одним из признаков, свидетельствующих о древнем происхождении причитаний русский ученый Н. Кравцов считает именно олицетворение смерти. Он отмечает: «Причитания — весь ма древний жанр. Это подтверждается явными остатками архаических представлений (олицетворение смерти), магических действий, старым типом стиха» (Н. И. Кравцов, «Славянский фольклор», М., 1976, с. 92—93).

Автор причитания обращается к невидимой смерти, как к стоящему перед ним, имеющему плоть врагу и сопернику: «Смерть, пусть разрушатся твои дороги» (Грузинская народная поэзия, т. V с. 78).

Физическое ощущение смерти, ее материальный образ и природа четко проявляются в причитании пшавской женщины: «Вашу смерть и смертью не назвать: вы не видите ее! Мне встретится смерть и, посмеиваясь, уйдет» (ГНП, т. V, с. 56).

Виктор Нозадзе писал: «Каждый мыслитель, каждый писатель, каждый поэт, затрагивавший вопрос о смерти, высказывал одну и ту же мысль. Разница была лишь в том, как он ее выражал, с какой силой, какими средствами, насколько художественно» (В. Нозадзе, «Богословие «Витязя в тигровой шкуре», Париж, 1963, с. 281).

Уставший, постаревший в борьбе со смертью человек, несмотря на «тщетность мысли о смерти» (Поль Валери), тем не менее не оставлял попыток объяснить это простое, на первый взгляд, явление, создать более-менее ясное представление о нем, познать его. Проводились наблюдения, исследования, существует колоссальный мировой опыт... Из всего множества известных нам дефиниций особым глубокомыслием, на наш взгляд, формой выражения и лаконичностью отличается определение смерти, данное Сулханом-Саба Орбелиани: «Смерть как бы ничто, а превращает нас в ничто, смерть невидима, а зримую нашу сущность делает незримой, смерть бесплотна, а уничтожает нашу плоть, смерть бездушна, а похищает наши души, смерть бескостна, а обнажает наши кости, смерть бесшумна и бессловесна, а запечатывает нам уста, смерть бессознательна, а отбирает у нас сознание и разум...» (см. «Грузинское красноречие», Тб., 1958, с. 181).

Персонификация смерти — популярнейший художественный прием плача в голос — почти и не воспринимается таким, настолько непосредственна, в какой-то степени наивна эта мольба лирического героя, обращенная к ненасытному бесплотному субъекту.

Плакальщица готова отдать смерти все свое добро, движи-



мое и недвижимое имущество, саму себя и даже мужа, только бы та вернула отнятое дитя. Но, к сожалению, всякая попытка угодить смерти, переманить ее на свою сторону тщетна и бесполезна. Слезы и мольбы на нее не действуют. Подкупить смерть невозможно.

В стихотворении «Беседа со смертью» говорится, что смерть не любит взятки, все зависит от рока. Если рок не поддержит смерть, она по своей воле не сможет явиться человеку.

Погубительница, появляющаяся то в образе летящего ворона, то в виде скелета верхом на тощей лошади, подчиняется определенным правилам, которые рано или поздно обязательно должны быть выполнены. И родственникам умершего ничего, кроме стонов и безнадежной исповеди, не остается: «Ох, смерть, какая, оказывается, ты, кинжалами рассекла мне сердце» (ГНП, т. V, с. 121).

А вот что сказал о смерти в беседе с Георгием Турманаули одаренный пшавский стихотворец и импровизатор Чрела Удзилаури, человек, немало переживший на своем веку, но тем не менее несломленный: «Эта проклятая смерть неодолимый враг человеку, ему с ней никогда не справиться. Сопротивляться ей бессмысленно. Сабля ей нипочем, за щитом от нее не укроешься, пуля ее не берет — никуда от нее не деться. Жалости она не знает, все для нее одинаковы. Просьбой не прошибешь. Я не видел человека, победившего смерть, а смерти самой смерти тоже пока нет свидетелей» (Г. Турманаули, «Уроки Чрела Удзилаури». Журнал «Цискари», № 3, 1981 г.).

О непознаваемости сущности и сути неминуемой смерти говорит великий французский мыслитель XVIII века Блез Паскаль в своих широко известных «Мыслях»: ...я знаю только то, что скоро умру, но меньше всего я знаю именно об этой смерти, которой не избежать, которую не предотвратить. Та же проблема волнует замечательного персидского поэта XI—XII веков Омара Хайяма: я раскрыл все тайные узлы и сплетения и познал все, кроме смерти...

По меткому выражению европейского ученого, если смерть — вечный сон, то жизнь — лишь минутная бессонница...

И поскольку смерть в действительности незрима и неизвестна, в воображении человека она принимает предметный образ, приобретает душу и черты характера, присущие зримому образу врага. Поэтому борьба и противостояние ей выглядят вполне логичными.

В одном одностороннем диалоге плакальщица пытается унижить и усог<sup>л</sup>етить свою бестелесную соперницу, действующую





щую исподволь. Смерть — не человек, с ней невозможно встретиться лицом к лицу, законами природы это не предусмотрено, поэтому смертный отводит душу, унижая ее. В причитании жены поэта Бачаны есть такие строки: «Смерть, не бахвалься, ты ничем не лучше стыда» («Причитания», Тб., 1981, с. 14).

Какую радость и облегчение доставила бы людям смерть самой смерти. («Плохо ли хорошо, — читаем мы в романе Ота-ра Чиладзе «Мартовский петух», — но все имеет свой конец. Наверное, и смерть тоже. Может быть, когда-нибудь и для нее навсегда закатится солнце»). Возможно, тогда этот заклятый враг жизни осознает все зло, которое он творил. Впрочем, где это слыхано вмешиваться в дела Провидения!

Мать, потерявшая ребенка, «равного всему миру», мать, превратившаяся в «беспросветную ночь», адресуясь к смерти, восклицает: «Смерть, если ты легка, почему сама не умрешь хоть однажды, почему не растаешь на солнце, как снег» (ГНП, т. V, с. 123).

Если упрямая и бескомпромиссная плакальщица с помощью различных приемов пытается одолеть смерть, это «романтизирующее нашу жизнь начало» (Новалис), не смиряется с ней, не уступает, реально мыслящая женщина, как сложивший оружие воин, недвусмысленно признает истину: «Горе нам, смерть-невидимка ходит, ни с чем не считаюсь» («Причитания», Тб., 1981, с. 41).

Осмысление факта смерти плакальщицами, их рассуждения и оценки его не всегда однозначны. Большая часть причитаний прокликает смерть, однако встречаются и такие образцы, в которых сквозит явная благодарность плакальщицы к частному проявлению смерти (ведь и Важа Пшавела писал: «В сравнении с жизнью смерть своего рода благо, своего рода красота, придающая вес и возвышающая мою человечность»). В таких образцах позиция лирического субъекта вполне определена и отчетлива: он благодарит смерть за то, что она забрала в мир иной замученного этой жизнью, отчаявшегося конкретного человека и дала возможность вечного отдыха...

Не будь своевременной смерти, жизнь стала бы невыносимой. Постоянное ожидание смерти придает ей смысл и прелесть. Благодаря смерти мы познаем истинную суть и ценность жизни, непреходящее значение внутренней сопричастности человека к многомерному миру. На фоне смерти, по словам Рабиндраната Тагора, мир предстает ослепительно прекрасным, лишней раз напоминая Адамову племени о достойном выполнении его особой миссии...



Грузинская народная сказка философского характера «Земля требует своего» (известны и другие названия — «Ищущий бессмертие юноша», «Ростомела», «Прекрасное», «Земля ты, и станешь землей»), которая относится к старейшим записям мировой фольклористики, рассказывает об объятom скорбью юноше, искавшем и нашедшем страну бессмертия. Но зов земли через тысячелетия (по некоторым вариантам — миллионы и миллиарды лет) вернул его обратно. И, внезапно постаревший, он испустил дух на родной земле.

Если бы Провидение действительно подарило ему (или присудило!) вечную жизнь и не вернуло из страны бессмертия на родную землю, герой этого древнейшего памятника устной словесности, исходя из вековечного опыта человечества, непременно сам нашел бы лекарство смерти и по своей воле расстался с опостылевшей вдали от соплеменников жизнью...

Искра поэтического гения озаряет пшавское причитание по «несчастному Иеремо», анонимный автор которого благословляет землю потому, что она прикрыла «голую плоть» одинокого бедняка. Мир послал ему красивого лекаря, т. е. смерть, и она уняла его боли, заставила навеки умолкнуть...

«Родственное» отношение к смерти в различных вариантах находим не только в народной поэзии, но и в художественной литературе. «Смерть — мой пир», — заявляет переживший немало потрясений и находящийся на грани безумия герой «Витязя в тигровой шкуре». «Разве ожидание смерти ты считаешь отрадой?», — говорит оплакивающая сына Отарова вдова. «Когда жизнь превратится в муку, смерть успокоит, предаст вечному сну», — пишет Джек Лондон в романе «Мартин Иден». Здесь же вспомним, что Галактион Табидзе назвал смерть «вечным другом», а известная французская писательница М. Юрсенар (1903—1987) заявила: «О смерти надо думать, как о друге, даже если возникает некое инстинктивное отвращение к ней...»

Идея смерти как добра соответствующим образом интерпретирована в научной литературе.

«Форму всей нашей жизни, — пишет Димитрий Узнадзе, — породила смерть, поэтому она неразлучным стражем всегда сопровождала и сопровождает нас. Она придает свои оттенки различным сторонам жизни. Поэтому смерть как идея не величайшее зло, а величайшее добро» (Д. Узнадзе, «Философская беседа. Смерть», газета «Колхида», № 4, 1911 г.).

Нравственный облик человека, личностные недостатки и достоинства, заслуги перед семьей, миром, родиной в полной ме-



ре выявляются после его смерти. Близкие только с его <sup>уходом</sup> осознают, с кем они расстались навсегда. Есть люди, <sup>жизнь</sup> которых начинается лишь благодаря смерти», — говорит Анд-<sup>ре</sup> Моруа... Так что смерть в определенном смысле действительно достойна уважения.

Циклический процесс жизни и смерти или перманентное их чередование, смерть одного и рождение другого каждую секунду уравнивает грубую действительность, примиряет нас с ней...

Смерть в разрезе закономерностей диалектических связей явлений осмысливается не как антитеза жизни, а как ее разновидность, имманентное свойство, естественный результат и ее продолжение (а согласно народному стиху, жизнь — «ртвели смерти»). Как говорил итальянский ученый и поэт Джакомо Леопарди, «сохранить жизнь было бы невозможно, не прерывайся она так часто» (Д. Леопарди. «Диалоги», Тб., 1986, с. 168).

Сам по себе тот факт, что «коллективный» автор траурной или философской лирики олицетворил образ смерти и наряду с отрицательными «обнаружил» в ней позитивные черты, отчетливо указывает на его неиссякаемое поэтическое мышление, серьезное отношение к острейшему вопросу — быть или не быть.

Смерть, как материальная темная реальность, последний непреодолимый барьер для жизни, превращающий все живое в прах, сформировалась в народной поэзии тем феноменом, который требует от смертного осторожного, трезвого отношения и напоминает, что в жизни человечества нет ничего устойчивого, неизменного и вечного, ибо «всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал» (1 Пет. 1,24).

А смысл и высшая цель пребывания на этом свете грешного человека состоит в том, чтобы служить добру и милосердию, заботиться о ближнем и в течение всей своей сознательной жизни готовиться к спасению души, дабы попасть в царство Небесное. «Последний же враг истребится — смерть» (1 Коринф. 15,26).





Гага НИЖАРАДЗЕ

## СОВЕТСКИЙ АНЕКДОТ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Обобщенный советский анекдот:  
Брежнев и Чапаев лежат в одной постели и оба евреи

### ОБ АНЕКДОТАХ ВООБЩЕ

Фрейд говорил, что в анекдотах обыгрываются три основные темы: секс, физиологические отправления и политика. Разумеется, темы эти не случайны. В глубине души каждого человека таится желание нарушить, перевернуть существующее положение вещей, сделать то, что не принято делать. В каждом обществе существуют ритуалы, обычаи и другие социальные установления, дающие возможность разрядить напряжение, порожденное подобными импульсами. А когда эти установления со своей функцией не справляются, напряжение возрастает и может закончиться взрывом...

Одной из главных социальных функций анекдота является именно нарушение табу, но не действием, а на словах. Секс и туалет как раз и представляют собой темы, которые не принято обсуждать публично, ну а выставление государственного мужа полным идиотом или бессовестным обманщиком переворачивает существующий порядок и порождает иллюзию власти у тех, кто ее лишен...

С 60-х годов, то есть с времен правления Хрущева, начинается невиданный расцвет политического анекдота в СССР и в других странах т. н. социалистического лагеря. Ранее, во времена Сталина, этот вид народного творчества вел прямым ходом в наименее жаркие районы Арктики и постольку не имел возможности развиваться. Но потом... Говорят, что КГБ, хорошо осознавая «паровыпускающую» функцию анекдота, держал спе-



циальный отдел, который занимался исключительно придумыванием политических анекдотов. Как бы то ни было, шутки про Сталина, Брежнева, Живкова и прочих генсеков, смешные и не очень, но всегда злые, получили поистине всенародное распространение и стали символом эпохи.

## О НАЦИОНАЛЬНЫХ АНЕКДОТАХ

Три желания француженки:  
рюмка коньяка до и сигарета после.

Однако есть еще один класс анекдотов, о котором Фрейд не упоминает, хотя и часто использует в качестве примеров в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному». Это, конечно, анекдоты про представителей различных национальностей. И хотя их сюжеты часто вращаются опять-таки вокруг секса, уборной и политики, тем не менее во многих из них просто обыгрываются те или иные национальные стереотипы. Такие анекдоты есть во всех странах и, помимо юмора, выполняют собственную социальную роль: повышают самооценку, компенсируют комплекс неполноценности или вины, дают выход накопившемуся раздражению, агрессии путем переноса (или, как говорят психологи, проекции) этих неприятных чувств на воображаемого представителя другой, «не нашей» группы, в данном случае — нации. Подобный «психотерапевтический» эффект национального анекдота, разумеется, невелик и почти всегда незаметен для рассказчика и слушателей, но он присутствует и свое дело делает.

### ЧУКЧИ

На военных учениях один танк нарушает строй. Командир в ярости орет в микрофон. Из танка вылезает чукча в радиошлеме: — Товарищ командир, шапка говорит!!!

В соответствии с описанными функциями национальных анекдотов подбираются и их персонажи, т. е. представители конкретных этнических групп. Во-первых, персонажем может стать представитель этнической группы, по всем статьям уступающей «рассказывающей» группе — и по культурному уровню, и по образованию, и по уровню жизни. В подобном случае распределение ролей аналогично ситуации в цирке: ребенок хохо-



чет при виде клоуна, который и выглядит нелепо, и делает все невпопад, и говорит исключительно глупости; а это льстит самооценке зрителя («уж я-то такого не сделаю!»).

Не знаю, как в других странах, но в СССР эта роль досталась чукчам. До поры до времени чукчи жили себе на Крайнем Севере, охотились на тюленей и разводили оленей. Остальные жители Советского Союза в лучшем случае знали, что такая народность существует и только. И вдруг с начала 70-х чукчи ворвались в каждый дом, каждое учреждение и стали частью повседневности. Вот чукча красит телевизор, чтобы он был «цветной», вот, заблудившись в лесу, стреляет из лука, призывая на помощь, вот, получив паспорт, спустя неделю требует новый, поскольку «старый он уже выкурил»... Короче говоря, в один прекрасный день чукча прочно обрел место в числе традиционных персонажей национальных анекдотов наряду с евреем и грузином. Правда, функция последних была несколько иной.

## ЕЩЕ НЕМНОГО ТЕОРИИ

Английский антрополог Виктор Тернер описал интересный феномен, названный им «властью слабого». Состоит он в следующем: часто бывает, что слабая, поработенная или зависимая этническая группа в глазах господствующей группы приобретает знак какой-то доминантности, словно ее члены обладают тайным знанием, мистической властью или чем-то еще, недоступным «сильной» группе. Яркий пример — цыгане, с приписываемой им способностью предсказывать будущее. В итоге среди господствующей группы распространяется двойственное чувство по отношению к «слабой»: с одной стороны, нечто вроде почтения, а с другой — раздражение от того, что «мы» для «них» открыты, а «они» для «нас» — нет. Избавиться же от раздражения можно, если представить его источник в смешном свете. Вот так и возникают национальные анекдоты второго типа...

Нечего и говорить, что в СССР «господствующей группой» были русские, ну а наиболее популярными персонажами анекдотов — евреи и грузины (были еще украинские, «хохлацкие» анекдоты, о психологической подоплеке которых я, к сожалению, не могу судить ввиду недостаточного знания русско-украинских отношений).



## ЕВРЕИ

Еврей — жене, после визита к врачу:  
— Ты знаешь, Сара то, что мы счита-  
ли страстью, оказалось астмой.

Еврейский анекдот в России имеет довольно давнюю историю. Несмотря на дискриминационные законы, во второй половине прошлого столетия евреи постепенно занимают видное место в общественной жизни России, особенно в сфере коммерции. А богатых на Руси не любят, так что реакция не заставила себя ждать. Наряду с появлением всяческих измышлений о «всемирном еврейском заговоре» (власть слабого!), о евреях стали рассказывать анекдоты. Сюжеты вертелись вокруг обычных тем: супружеские измены, теща, школа... Но в то же время явственно стала вырисовываться доминирующая черта, приписываемая персонажам еврейских анекдотов: стремление к наживе. Интересно, что в германоязычных странах, где евреев тоже не очень любили, главной чертой, обыгрываемой в еврейских анекдотах, стало, скажем так, недопонимание значения личной гигиены (Двое евреев встречаются в бане. Один вздыхает: — Вот и еще один год прошел...). Хороший пример того, как в анекдоте подчеркиваются важные для данной культуры ценности...

Вернемся, однако, в Россию. В советское время Рабинович, по понятным причинам, уже не может заниматься легальным частным предпринимательством, однако своему призванию не изменяет: он устраивается в те государственные учреждения, где делаются деньги (Голос с еврейским акцентом: — Алло, это база? — Да. — А кто говорит? — Иванов. — Простите, я, наверное, ошибся номером; очевидно, это военная база...).

Однако с 60-х годов Рабинович стал выступать в новой роли, причем новый образ стал ведущим в советском еврейском анекдоте: еврей стал пассивным, но весьма язвительным противником советского режима, и кроме того, жертвой дискриминации по национальному признаку (Хрущеву приносят на утверждение список кандидатов на должность главного раввина Москвы. — Вы с ума сошли, — кричит Хрущев, — здесь же одни евреи!)...

В этой серии анекдотов еврей, как правило, предстает отнюдь не в смешном свете, наоборот, он сам издевается над политической и социальной реальностью, т. е. выступает как «положительный» персонаж. По этому признаку можно утверждать, что подобные анекдоты рождались в среде самой еврей-



ской интеллигенции. Таким образом, еврейский политический анекдот — это нечто другое, а именно, реакция против «власти сильного», в нашем случае — политического режима (а не конкретной нации).

## ГРУЗИНЫ

Стоит грузин на Арбате и пересчитывает толстую пачку купюр. К нему обращается прохожий: — Товарищ, как пройти в мавзолей Ленина? — Слушай, делом займись...

Анекдоты о грузинах тоже появляются с 60-х годов, когда советская жизнь претерпевает значительные изменения. Главным было то, что место госбезопасности на вершине общественной пирамиды заняла партийная номенклатура. За все, как известно, нужно платить, и платой за господство оказалось допущение некоторой либерализации общественной жизни. В числе прочих послаблений власть вынуждена была закрывать глаза на коммерческую деятельность, запрещенную официальным законодательством. Режим как бы заключил с подданными неписанный договор: делай что хочешь, наживай себе богатство, но не очень зарывайся, а главное, не смей вмешиваться в официальную политику и идеологию.

Так вот, в Грузии новые правила игры были усвоены очень быстро и эффективно. Многие мои соотечественники стали вовсю делать деньги (благо система это позволяла) и, что очень важно, публично демонстрировать богатство (в отличие от евреев). Именно последняя деталь, на мой взгляд, более всего резала глаза «советской общественности». И появился персонаж — Гиви или Гоги, не обремененный высоким интеллектом, с чудовищным акцентом, часто становящимся причиной смешных недоразумений; но главные его черты — непреодолимая страсть к женскому полу (грузин без пищи может прожить неделю, без воды — день, а без женщин не более двух часов) и карманы, полные денег. В грузинских анекдотах часто подчеркивалось, что Гиви и Грузия в целом живут по-своему, не по советским правилам. Не то, чтобы грузин настроен антисоветски; у него просто другие интересы, и он часто не знает того, чего не может не знать каждый советский человек, например, имен классиков марксизма или членов Политбюро («Брежнев — это тот, который играет в программе «Время»?»)...

Знаменательно, что с 90-х годов, после развала комму-



низма, грузинские анекдоты пошли на убыль, а освободившуюся «экологическую нишу» заняли анекдоты про «новых русских». «Новый русский» во многом повторяет грузинского персонажа: те же легко нажитые деньги, то же стремление тратить их без счета, та же неотесанность (Один «новый русский» другому: — Смотри, какой я галстук купил за две тысячи баксов. — Дурак, здесь за углом точно такой же продают за три тысячи!); нет лишь донжуанства и, конечно, акцента. А в остальном эти два персонажа в большинстве анекдотов взаимозаменяемы. И это обстоятельство, а именно, высмеивание богатства, т. е. резко отрицательное отношение к последнему, наводит на серьезные размышления: а позволят ли русская культура построить в своей стране демократическое общество с рыночной экономикой? И не повторится ли, оборони, Создатель, Октябрь 1917 года, о котором историк Яковенко сказал, что это было не что иное, как тотальная реакция русской культуры, имевшая целью восстановление разрушающейся базовой ценности: равенства всех в бедности...

Еврей — это профессия, грузин — образ жизни, чукча — диагноз, а русский — это судьба...





## РЕДАКТОР, ПОЛИТИК, ДРУГ

Скончался бывший главный редактор журнала «Литературная Грузия», председатель парламентского Комитета по образованию, науке и культуре Роман Миминошвили. Накануне он выступил с траурной речью на похоронах известного журналиста и общественного деятеля Вахтанга Эсванджия, и кто мог подумать, что самому Роману Северьяновичу осталось жить меньше суток. Он попал в автоаварию, получил сотрясение мозга, был доставлен в больницу и там скончался от инфаркта миокарда. Это большая потеря не только для его близких, но и для всей общественности нашей республики.

Биография Романа Миминошвили охватывает различные сферы человеческой деятельности — науку, преподавание, литературу, журналистику, политику. И главное, в каждой им оставлен весомый след.

Роман Миминошвили родился в селе Суджуна Абашского района, среднюю школу окончил в Тбилиси на золотую медаль. Затем были филологический факультет Тбилисского государственного университета и аспирантура на кафедре классической филологии под руководством известного ученого Симона Каучишвили.

Доктору филологических наук, профессору Роману Миминошвили принадлежат более двадцати научных работ, посвященных, в основном, проблемам классической филологии, в частности эллинистики. В течение ряда лет он вел в ТГУ курс латинского языка, читал лекции по истории западноевропейских литератур. Затем начал работать в Институте грузинской литературы им. Ш. Руставели, где до конца жизни занимался интенсивной научной деятельностью.

Однако главным делом жизни Роман Миминошвили считал писательство, а самой большой победой — перевод на грузинский язык «Илиады» Гомера.

Действительно, стать первым переводчиком великого, подлинно героического эпоса, всех его двадцати четырех книг, то есть многих тысяч строк, причем выполнить все это на высоком поэтическом уровне и непосредственно с древнегреческого — безусловно равнозначно подвигу. Легко сказать, труднейшая работа продолжалась двадцать пять лет. Она требовала не только художественного мастерства, но и фундаментальных



знаний, огромной научной эрудиции, понимания древней эпохи. Известно, что «Илиада», как и последующие творения эллинской поэзии, написана без рифм. Может показаться, это облегчает перевод. С одной стороны, возможно, так и есть, но, с другой, отсутствие рифм усложняет перевод, ибо богатой созвучиями стихотворной речью легче привлечь и заинтересовать читателя. Ни одна высококультурная литература не должна, просто не может обойтись без перевода «Илиады», и человек, заполнивший в грузинской словесности этот пробел, заслуживает глубокой благодарности. Кроме всего прочего, Роман Миминошвили, несомненно, обладал большой силой воли, умением добиваться поставленной цели, до конца выполнять намеченную задачу. За эту работу и перевод «Энеиды» Вергилия ему вполне заслуженно была присвоена премия имени Ивана Мачабели.

Сборник своих собственных стихотворений Роман Миминошвили выпустил уже в зрелом возрасте. В предисловии его редактор Шота Нишнианидзе писал, что первая книга равноценна первой любви. И добавлял, что первая любовь, вероятно, более пьяняща и дорога, если приходит к человеку солидному. В книгу вошли стихи разных лет, разной тематики. Ей свойственны и лиричность, и драматичность, и юмор, и сатира.

Да, он любил шутить, умел смеяться от души, а юмор его был не просто чисто бытовым; достаточно сказать, что, помимо всего прочего, он — автор сатирических миниатюр и поэмы.

Роман Миминошвили почти десять лет был главным редактором «Литературной Грузии». Сотрудники редакции тогда и узнали его как руководителя и как личность. Он ни на кого не повышал голоса — ни один из нас не помнит подобного случая. Если он был уверен в собственной правоте, ничто не могло заставить его изменить свое мнение, он был принципиален и строг. Плодом принципиальности и патриотизма явилась совместная с Гурамом Панджикидзе научно выдержанная и одновременно эмоциональная публицистическая книга «Правда об Абхазии», вышедшая на грузинском и русском языках в 1990 году, еще до братоубийственной войны.

В то время, кстати, отдельные печатные органы считали хорошим тоном, мягко говоря, покритиковать грузинские традиции, обычаи, нравы, неписанные законы и т. д. Роман Северьянович завел в журнале специальную рубрику, сам лично позорил клеветников и пасквилянтов.

Вообще он писал, как казалось, с охотой. Об этом сви-



детельствуют публикации хотя бы тех лет, когда он только начал всерьез заниматься политикой.

На первый взгляд могло показаться, что он несколько замкнут. Но такое впечатление полностью рассеивалось при более близком знакомстве. Он был очень внимателен и заботлив к сотрудникам. Как редактор всегда поддерживал тех авторов, особенно молодых и неизвестных, в ком чувствовал истинную одаренность. Что же касается нахрапистых лжеписателей, с ними он не был склонен идти на творческие компромиссы. Никакая протекция, никакие титулы, телефонные звонки «сверху» тут не помогали. Негодные романы, поэмы, стихи и т. п. посылались не в типографию, а выбрасывались в корзину.

Роман Миминошвили не раз отмечал, что его приход в политику, парламент был обусловлен событиями, происшедшими за последние годы в нашей стране. Как писатель и гражданин он не мог остаться в стороне от реальной жизни. Ибо юристы и экономисты, принимая законы и определяя политику государства, должны учитывать мнения писателей, ученых, врачей, педагогов...

При непосредственном участии Романа Миминошвили в парламенте были подготовлены и приняты законы об образовании, культуре, спорте, библиотеках и т. д. Кстати, он со всей серьезностью относился к спорту, высоко ставил и уважал тех, кто отдает ему все свои силы. Роман Северьянович долго и заинтересованно мог говорить не только о футболе, но и о баскетболе, борьбе, плавании, боксе, легкой атлетике. Как член официальной делегации республики он присутствовал на летних Олимпийских играх в Атланте и был огорчен неудачным выступлением грузинских спортсменов.

...В начале марта текущего года в редакции «Литературной Грузии» вдруг раздался звонок и нам сообщили скорбную весть. Это было настолько неожиданно, что никак не хотелось верить. Неделю назад человек делился планами на будущее, говорил о конкретных, ожидающих его делах, как член нашей редколлегии интересовался планами журнала и по мере сил помогал нам, сидел вот за этим столом и вдруг...

Романа Миминошвили всегда будут помнить не только близкие, друзья, коллеги, знакомые, но и все читатели его произведений, замечательного перевода «Илиады». Особая память о нем сохранится у людей, с которыми ему довелось работать не один год — среди них сотрудники «Литературной Грузии».

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»**



## «ВИДИШЬ, ТЕМНЕЕТ...»

Летом 1963 года Арчил Сулакаури пригласил меня вместе с Саргисом Цаишвили и Нодаром Эбралидзе в путешествие по Тушети. Это было предприятие, полное возвышенных и неизгладимых впечатлений. Первое чудо — сложенная из черного сланца Дартло... Мы не могли скрыть своего восторга, и Арчил с улыбкой сказал нам: сейчас, надеюсь, вы меня зауважаете, видите, откуда я родом.

Я вспомнил об этом потому, что Арчил Сулакаури не признавал местничества. Более того, он был непримирим даже к малейшим его проявлениям, в которых совершенно справедливо усматривал признак национальной и интеллигентной незрелости. Думается, такая точка зрения, как нечто естественное, — достижение нашего времени, заслуга тех, кто сформировался в столице Грузии в поколение, явившееся носителем определенных гражданских убеждений и национального самосознания.

Я хорошо помню старый дом Сулакаури на берегу Куры с крепко сбитыми ступенями, ведущими на открытый балкон. С него открывался вид на Мтацминду. На стене возле входной двери висел барельеф с изображением двугорбого верблюда, выполненный Карло Сулакаури. Я воспринимал его как герб этого дома, родного для моей юности, как символ выдержки старшего поколения этой семьи и стойкости младшего. В другой комнате стоял старенький диван, на котором я обычно спал, когда оставался на ночь. Здесь же велись нескончаемые беседы о поэзии, человеческой сущности, о будущем. Тут же я слушал изумительные устные рассказы Арчила о странных знакомцах его квартала. Очевидно, что некоторые рассказы, созданные Арчилом Сулакаури впоследствии, — своего рода переключка с прошлым. Но для меня так же очевидно и то, что впечатления из прошлого просочились в произведения прозаика весьма скупю, пройдя через горнило вдохновения и осмысления. У Арчила Сулакаури был острый глаз. Это видно по его прозе, где удивительно схвачены мельчайшие подробности, где так естественны детали. Именно этот острый глаз и привел Арчила Сулакаури в прозу.



Проза, как отметил один философ, рождается в рыцарской борьбе с поэзией. Искусством этой «борьбы» прекрасно владел Арчил Сулакаури, бывший в одно и то же время в передовых рядах «противоборствующих» сторон. «В свое время он решительно отошел от поэзии, хотя она всегда жила в его душе с каким-то метафизическим упрямством», — отмечал критик Отия Пачкория. В 1975 г. Арчил Сулакаури издал лучший свой лирический сборник — «Со всех четырех сторон», свидетельствующий о животворности его таланта. Из произведений этого сборника на нас глядит серьезное, чуть грустное лицо поэта, который и в самых мрачных видениях сохраняет мужскую мягкость, волю и деятельность...

Возвращаясь к нашей поездке в Тушети, я вспоминаю, как в Эго, на снежном холме, Арчил обнаружил крошечный цветок, он взволнованно позвал нас, и мы долго рассматривали это сияющее голубизной на белоснежном фоне маленькое творение природы... Он стал как бы символом его грядущих поисков и побед...

\* \* \*

Впервые я прочитал стихи Арчила Сулакаури в 1945 году, будучи студентом первого курса. Они были собраны в тетрадь. Тогда же я и познакомился с ним. В следующем году в «Литературули Сакартвело» появилось несколько его стихотворений. Многим запомнились тогда строки: «Поднимусь я на Мтацминду, обопрусь локтем о луну, как отвоевавший Ахилл — на свой меч». Уже в этом стихотворении проявилось отношение Арчила Сулакаури как поэта к традиции, которая с самого начала подразумевала верность классическим формам и ясному поэтическому мышлению. По своему мироощущению он был абсолютным урбанистом, и с этой точки зрения разговоры о его тушинском происхождении неуместны. Арчил Сулакаури был не просто тбилисец, его отличало некое достоинство, характерное для коренного жителя столицы.

В течение полувека Арчил Сулакаури честно и преданно служил грузинской литературе. Судьба привела его в журнал «Мнатоби» и сдружила с Симоном Чиковани, бывшим тогда главным редактором. Это было время, когда намечались новые пути развития грузинской литературы, и на страницах «Мнатоби» ценой большого риска печатались произведения, рушившие рамки тогдашней ложной застоявшейся этики и закладывавшие основу для свободного творчества молодых литераторов. Арчил Сулакаури принимал непосредственное участие в



этом процессе не только как сотрудник журнала, но и как пи-  
сатель, воплощающий в жизнь эти новые тенденции.

Когда его назначили директором издательства «Накаду-  
ли», Арчил Сулакаури собрал всех сотрудников. Наверное, это  
было самое короткое собрание в истории издательства, а может  
быть не только издательства. Директор сказал: «На коллег не  
доносить, никого слушать не буду», — и объявил собрание за-  
крытым. Он был глубоко убежден, что в творческом учреждении  
администрирование неприемлемо. Этой же точки зрения при-  
держивался он и будучи редактором «Мнатоби». Заведуя «На-  
кадули», Арчил Сулакаури издал семнадцатитомник грузин-  
ской поэзии. Это весьма значительное литературно-культурное  
явление до сих пор по достоинству не оценено.

Долгая дружба хранит множество тайн, но еще больше  
их раскрывает. Именно благодаря раскрытым тайнам течение  
времени делается кристально чистым, освобождаясь от всего  
наносного и второстепенного. Гражданственно-литературная  
позиция Арчила Сулакаури всегда была незыблемой. Его от-  
ношение к окружающим — уважительным и достойным. Из  
всех наших друзей он знал больше других и правильнее дру-  
гих оценивал ситуацию, поэтому мы доверяли его слову и со-  
вету. Его отличал острый юмор, и подобные же «нападки» со  
стороны других не вызывали у него раздражения. Лет двенад-  
цать назад я подарил ему в день рождения книгу Мандель-  
штама «Разговор о Данте» с надписью: «Старик, готовься к  
аду». Он усмехнулся: «Герман Гессе как-то жег листья в са-  
ду. Проходящая мимо женщина заметила ему: это хорошо, что  
ты привыкаешь к огню, он всех нас ждет». Как жаль, что этот  
инфернальный костер разожгли под солнцем, и дым от него,  
к сожалению, еще застит небо...

\* \* \*

Как-то неожиданно кончилось время. Неожиданно ли? Мо-  
жет быть и нет. За несколько месяцев до его смерти мы с Ар-  
чилом Сулакаури, беседуя, выходили из метро. попрощавшись,  
он вдруг замешкался, повернулся ко мне и тихо произнес:  
«Ухожу...» Он не любил лишних слов и никогда не говорил по-  
добного. Что я должен был ответить ему?

В 1949 году я посвятил Арчилу стихотворение, которое  
кончалось так:

Видишь, темнеет,

Брат мой и друг,

Видишь, темнеет, глухо, безнадежно, ужасно!



# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



**ГАБУНИЯ** Лео. Родился в 1920 году в Иркутске. Окончил Грузинский индустриальный институт (бывший ГПИ, ныне ГТУ). Академик-секретарь Академии наук Грузии, профессор кафедры геологии и палеонтологии Тбилисского государственного университета. Автор многочисленных научных трудов, в том числе монографий по палеонтологии, палеоантропологии, истории науки и одного фантастического рассказа. Член международных научных обществ.

**ДЖАНДИЕРИ** Котэ. Родился в 1958 году. Окончил географо-геологический факультет Тбилисского государственного университета. Читает курс лекций в университете по теории драмы. Автор сборника художественных рассказов и книги о балете «Грузинский национальный балет» — об ансамбле Сухишвили-Рамишвили.

**ЗУРАБАШВИЛИ** Ирина, прозаик, переводчик, журналист. Окончила филологический факультет Тбилисского государственного университета. Редактор отдела публицистики журнала «Литературная Грузия».

**КУПРЕЙШВИЛИ** Нонна, кандидат филологических наук, специалист по новейшей грузинской литературе. Окончила факультет грузинского языка и литературы ТГУ. Автор многочисленных статей. Работает в Институте грузинской литературы им. Шота Руставели.

**НИЖАРАДЗЕ** Гага. Родился в 1957 году. Психолог. Окончил философо-психологический факультет ТГУ и аспирантуру Института психологии Академии наук Грузии. Заведующий лабораторией Института психологии.

**УРУШАДЗЕ** Паола. Окончила Грузинский государственный театральный институт им. Шота Руставели. Автор книги «Шекспир и грузинский театр» (1994 г.). В 1986 году вышел сборник ее стихов «Сперва был сад...». Стихи и переводы из поэзии Галактиона Табидзе печатались в разные годы в журнале «Литературная Грузия», а также в альманахе «Дом под чинарами», журналах «Юность», «День Поэзии» и др.



ЧЕИШВИЛИ Резо. Родился в 1933 году в г. Кутаиси. Окончил ТГУ. Был членом сценарной коллегии киностудии «Грузия-фильм», редактировал журнал «Гантиади», ныне секретарь Правления Союза писателей Грузии. Автор многочисленных романов, рассказов, киносценариев, в том числе «Голубые горы» и «Бзианети». Лауреат премии Руставели и Госпремии СССР. Переводился на многие языки мира.

ЧИЛАДЗЕ Тамаз. Родился в 1931 году. Поэт, прозаик, драматург. Окончил филологический факультет ТГУ. Первый сборник стихов издан в 1956 году. Первая пьеса «Аквариум» была поставлена в театре им. Шота Руставели в 1965 году. Лауреат премии Руставели и Государственной премии ГССР. Главный редактор журнала «Мнатоби». Переводился на многие языки мира.

ЧИТИШВИЛИ Манана. Поэт. Окончила историко-филологический факультет Горийского педагогического института. В 1974-80 годах сотрудничала в Ленингорской (ныне Ахалгори) районной газете. Автор пяти сборников стихов. Лауреат премии Маяковского, а также ежегодной премии Союза писателей Грузии. Работает в Институте литературы им. Шота Руставели старшим научным сотрудником. Переводилась на многие языки мира.







**Главный редактор ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ**

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Амиран АРАБУЛИ (зам. главного редактора), Гурам БЕНАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Георгий ГАЧЧИЛАДЗЕ, Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ, Коба ИМЕДАШВИЛИ, Михаил КВЛИВИДЗЕ, Роман МИМИНОШВИЛИ, / Лия СТУРУА, Лиана ТАТИШВИЛИ (отв. секретарь), Тамаз ЧХЕНКЕЛИ.

**Художник ОЛЕСЯ ТАВАДЗЕ**

**Техредактор К. КОТОМИНА**

**Корректоры: М. МЕРАБИШВИЛИ,  
Е. СОПРОМАДЗЕ**



„ლიტერატურნაია გრუსია“  
საქართველოს მწერალთა კავშირის  
ორგანო



Сдано в набор 11.03.98. Подписано в печати 28.05.98.  
Формат бумаги 84×108<sup>1/32</sup>. Печать высокая. Заказ 314.  
Тираж 300.

**Цена договорная**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: 93 65 15, 99 06 59.

© «Литературная Грузия», 1998.

Типография издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.



48 1/4

